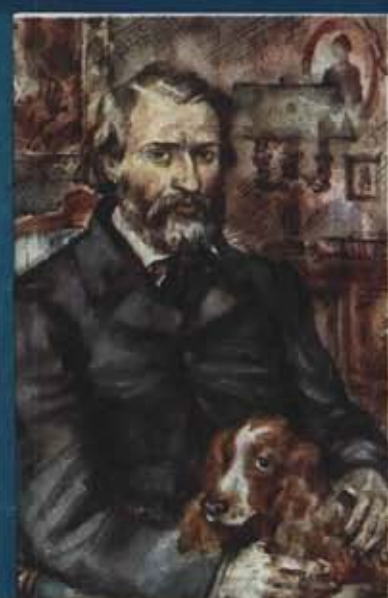




# СМЕНА

№ 6 МАРТ 1979



«Сердце русского писателя было колоколом любви, и вечный и могучий звон его слышали все живые сердца...»

М. Горький

К VII  
ВСЕСОЮЗНОМУ  
СОВЕЩАНИЮ  
МОЛОДЫХ  
ПИСАТЕЛЕЙ

Одна из добрых традиций Ленинского комсомола — дружба с советской литературой.

Одна из добрых традиций советских писателей — дружба с Коммунистическим союзом молодежи. Эта взаимность не вопрос отношений, а сама жизнь. Многие ныне прославленные литераторы прошли школу Ленинского комсомола и первые свои книги посвятили своей юности. А далее всегда случалось так, что Союз молодежи брал на вооружение лучшее из творчества своих вчерашних воспитанников, выковывая с помощью их книг новые поколения молодых борцов.

Но есть еще один важный момент в содружестве комсомола и литературы, еще одна важная забота.

Эта забота — воспитание тех, кто вступает в творчество, забота о том, чтобы вышествовать не только даровитое перо, но взрастить подлинно советского художника, гражданина своего Отечества, патриота, живущего судьбами страны, ее заботами, ее проблемами.

Можно сказать так: комсомол в содружестве с Союзом писателей создал стройную систему этого, истинно гражданского воспитания.

Издательства, журналы и газеты ВЛКСМ стали постоянно действующими семинарами, где идет практическая работа над рукописями начинающих авторов, где формируется не только вкус, любовь к слову, но и мировоззрение. Для каждого крупного писателя давно стало естественной потребностью иметь своих учеников, а точнее, давать путевку в литературу тем, кто благодаря своему таланту и труду имеет право на слово, обращенное к читателю.

Важными актами заботы о начинающих литераторах стали Всесоюзные совещания молодых писателей.

Ныне проходит уже седьмое по счету, а за этой цифрой — сотни имен, тысячи книг, целые пласты в советской литературе.

Нынешнее совещание молодых — первое после известного постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью». А оттого повышается его значение, его глубокий смысл как для тех, кто придет в семинары на правах учеников, так и для тех, кто придет туда на правах учителя. Совещание ведь не просто обсуждение рукописей, вернее, не только их обсуждение. Это формирование взглядов, это работа, которую, может, и не заметишь сразу, но которая отойдет потом, через несколько лет, в образах, в слове, в идеях новых книг. А книги эти составят важную часть текущей литературы. Так было после прошлых совещаний. Так будет теперь.

Журнал «Смена» гордится тем, что в разные годы на его страницах начинали многие известные мастера советской литературы. Первые свои произведения опубликовали у нас Виктор Астафьев и Юрий Бондарев, Расул Гамзатов и Василий Шукшин.

В свою пору они были никому не известными начинающими, теперь же их имена знают все. На страницах этого номера журнала, целиком посвященного VII Всесоюзному совещанию молодых писателей, как, впрочем, и на страницах многих других номеров «Смены», вы встретите рядом с именами мастеров никому пока не известные фамилии. Ничего удивительного тут нет — эти молодые люди только начинают в литературе. Но мы верим: пройдет несколько лет, и кто-то из безвестных сегодня начинающих сумеет прибавить своим творчеством новые страницы к истории отечественной словесности.

Одна из постоянных рубрик «Смены» называется так: «Новое имя».

Новому имени в советской литературе, формированию его творческой индивидуальности, его мировоззрения посвящаются материалы этой журнальной книжки.

Альберт ЛИХАНОВ,  
председатель Совета творческой молодежи ЦК ВЛКСМ,  
главный редактор журнала «Смена»

# СЛОВО



Михаил АЛЕКСЕЕВ

Люди по-разному приходят в литературу. Одни как бы из самой же литературы, другие — из житейских будней. Первые, поскольку шибко грамотные и начитанные, прямо-таки врываются в нее, берут ее как бы штурмом оттого, что раньше других познали литературные азы. Вторые, в сравнении с первыми, сперва кажутся увальнями неповоротливыми, на писательскую стезю выходить не торопятся, в Союз писателей не рвутся, а просто работают где-то на стройках, на предприятиях, в колхозах и совхозах, в лабораториях, не подозревая даже, что трудовой их опыт, трудовые навыки и наблюдения со временем окажутся единственно надежной опорой на нелегкой, капризнейшей из дорог — дороге литературной.

В конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов мы были свидетелями бурного, прямо-таки вихревого вторжения молодых людей, которые один за другим начали исповедоваться перед нами в своих смутных ощущениях, навязанных не живой действительностью, а прочитанными книгами. Некоторые из них героями своих произведений сделали инфантильных мальчиков и девочек. Боже мой, сколько же было шуму и грому вокруг имен этих молодых литераторов, — они на какое-то время сделали модными. Критика наша быстро упаковала их в обойму и несколько лет кряду заботливо нянчила. Прошли годы, и вдруг обойма эта сперва отошла, а потом и вовсе рассыпалась.

Что же случилось?

А случилось то, что и должно было случиться. Один за другим начали звучать голоса художников, вышедших из глубин народной жизни. За первой же волной самобытных писателей последовала и другая и третья. Пришли эти люди и обогатили литературу и своим видением мира, и остротой зрения, и, что очень важно, прекрасным языком, почерпнутым из артезианских глубин родниковой народной речи.

Впрочем, в последнее время часто стал мушкетироваться вопрос: как, мол, язык этот — достояние литературы или так, фольклорные узоры. Ну, нас-то, старшее поколение, вряд ли собьешь с панталыку. А вот молодых, пожалуй, можно смутить. Потому главное мое пожелание вам, участники большого старта в литературу, — не смущайтесь. Не переставайте учиться у народа, у языкотворца, иначе грозит поначалу и незаметный, но к большой творческой беде ведущий переход на поточный, стекло-ватный, по выражению Егора Исаева, язык, среднеграмматический, обезжиренный и обезвоженный, невыносимо скучный.

Чистописание похвально на уроке чистописания и ужасно в художественной

литературе. С чистописанием на страницах рукописи поделаться ничего нельзя — говорю вам это, опираясь на свой многолетний опыт редактора. Автора такой чистенькой, вытопченной рукописи не обвинишь в безграмотности, к нему не придерешься. У него все на месте, все разложено по полочкам, все расставлено, как положено: подлежащее, сказуемое, точки, запятые — все знаки препинания. Все, повторяю, на месте. Только нет там ничего своего, яркого, а стало быть, нет и литературы.

Помните, нет праздника творчества без праздника слова.

М. Алексеев



Виктор АСТАФЬЕВ

Приветствую участников VII Всесоюзного совещания молодых дарований (писателями они пусть сами себя называют, если хватит смелости), приветствую и желаю им плодотворных встреч, знакомств, чтоб подарила им судьба с помощью совещания близкого друга в литературе и много товарищей, ибо это самое ценное, что можно приобрести на творческих встречах и собраниях, а писать никакие совещания вас не научат.

Писать, если есть талант, учатся в одиночку, за столом, преодолевая страх перед гигантами литературы, работавшими до нас, неуверенность в своих силах, материальный недостаток, нездоровье от каждодневной безылазной работы и многое-многое другое, что подарит жизнь человеку, работающему пером, работающему индивидуально, и потому трудности и преграды на его пути тоже будут индивидуальные.

Чтобы их преодолевать, нужен характер, а характер человека, в том числе и творческого, вырабатывается тоже в работе — все у писателя в ней, в работе: и радости, и горе, и слава, и забвение, и хлеб насыщенный, и бесхлебье...

И еще желаю выдержать испытание первым успехом — это гораздо труднее, ибо неуспехом люди испытываются давно и часто, уже «обколотились», а вот успех — вещь весьма и весьма редкая и коварная.

Может быть, поможет мой опыт: я всегда помню, какую и после кого делаю работу, отношусь к ней с уважением и трепетностью, но «продукцию» свою отношу в журналы и издательства так же, как деревенские мужики возили на базар дрова, нахваливая их, запрашивая «настоящую цену», но все же как за дрова, за добрые, швырковые, сухие, мозолями добытые и все-таки дрова.

# К МОЛОДЫМ

Я шушу, конечно, но во всякой шутке, как и в сказке, есть намек—добрым молодцам урок...

*В. Асаваз*

*В стихах, как в жизни, будь самим собой,  
Не забывай, что свадебное платье  
И белый саван шьют одной иглой.  
Пиши о счастье, так пиши, чтоб горя  
Сторонкой сердце вдруг не обошло.  
Рождают реку, что пьет море,  
Холодный снег и вешнее тепло.*

*Воспой любовь,  
воспой строкой крылатой.  
Но только, друг мой, помни наперед,  
Что в сердце настоящего солдата  
С любовью рядом ненависть живет.*

*Не заставляй перо быть  
торпливым,  
Пусть выдержкой прославится оно.  
Кто тянет руки к несозревшим  
сливам?  
Кто пьет недобродившее вино?*

*Ты будь как тот охотник  
беспокойный,  
Что пропадает сутками в лесу,  
Чтобы добыть не зайца в чаще  
звонкой,  
А черно-серебристую лису.*

*Саят Мамедов*



**Вадим КОЖЕВНИКОВ**

Мои друзья, будущие писатели! Пусть не удивляет и не обижает вас такое обращение: теперь, пройдя долгий жизненный и творческий путь, я имею право так сказать. Ибо тот еще не шахтер по сути — а не по названию! — кто впервые спустился под землю, в штрек, и, взяв в руки отбойный молоток, отколол кусок угля, и юноша, пришедший в цех, твердо решивший стать сталеваром, еще долгое время будет учеником, будет познавать секреты мастерства...

И вы, мои молодые друзья, пока лишь примериваетесь к писательскому делу, все у вас еще впереди: и мастерство, и глубины знаний, и творческая вершина—ваша главная книга. Огорчения, неудачи, преодоления, нераскрытые темы тоже будут. И этого не надо страшиться. Уверен, что каждый из вас уже знает, ощущает творческой интуицией свою основную тему, разработку которой отдаст всю жизнь. И здесь, мне думается, нет многограннее, сложнее и благодарнее темы, чем тема труда, потому что труд—фундамент бытия, жизни, кузнец характера человеческого.

Возьмем, например, молодого рабочего—заводского парня вашего возраста, современника вашего. Воплощен ли его образ в нашей литературе? Да, скажете вы, конечно. И будете правы. Но вместе с тем образ этот многомерен и поистине неисчерпаем. Долг входящих в литера-

туру—увидеть в нем новые черты, смело поднять новые проблемы, а в решении старых не плестись в хвосте «объезженных» художественных приемов. Отлично, когда старшее поколение художников с высот своего опыта рассказывает о молодом, ярком герое рабочих будней, однако необходимо, чтобы его товарищ—такой же молодой человек, писатель—рассказал о нем. И в небольшой новелле или в короткой повести, и в романе, обширном, глубоком, не терпящем торопливого письма, торопливого чтения. Эпопея строительства БАМа, строительства эпохального, настоятельно требует создания романа-эпопеи. И писать его уже надобно вам.

Не увлекаться частностями, «второстепенностями», не засорить свое творчество мелкотемьем, а искать и найти (подчеркиваю, ибо иного и быть не должно) тему великую, тему многотрудную—это насыщенная, первоочередная творческая задача нашей литературной смены. О труде и нужно писать многотрудно. Иначе не гимн мы споем ему, а так—нечто легкожанровое.

*В. Комаров*



**Сергей МИХАЛКОВ**

В каждом пожелании молодым писателям, не ошибусь, всегда слышится такой лейтмотив: учитесь у жизни, но и активно созидайте ее, ведь писатель «гражданином быть обязан». Необъятна панорама тем, ждущих молодого, задорного пера, как необъятен и размах замечательных дел советских людей. Не коснешься всех, да и нельзя обойти прикосновением—только прикипеть всей душой, всем сердцем.

Обращаясь к вам, дорогие дебютанты литературы, хочу напомнить об одной важной миссии писателя—миссии воспитателя. В первую очередь юных. Вы наша смена, и, смею быть уверенным, нас, старшее литературное поколение, нельзя обвинить в скупости на поддержку, совет, на товарищеские чувства. А те, кому сейчас от самого мала 5—6 лет до самого «велика» 14—15 лет,—это ведь ваша смена, и если уж государственно мыслить—завтра нашей Родины. Но, к сожалению, радоваться вниманию пишущей молодежи к детской и юношеской литературе не очень-то приходится: мало, мало работающих на этой благородной ниве—иной раз, знаю, на зональных совещаниях по пальцам пересчитать можно, семинар трудно образовать. Так что «необъятная панорама тем», как я выразился вначале, вовсе не дежурные слова, а в некотором смысле призыв. Призыв найти не только свою точку творческого

приложения, но и чтобы она была общественно значима.

Посмотрите, какое поистине громадное общественное значение придано партии и правительству воспитанию юных граждан страны, каким вниманием окружена детская и юношеская литература, плодотворно работающая в этом направлении. Книги для ребят выпускаются миллионными тиражами, в журналах, газетах, на радио и телевидении произведения для детей всегда «зеленая улица». Ибо произведения эти, лучшие из них,—мудрые воспитатели. Леонид Ильич Брежнев, поздравляя издательство «Детская литература» с юбилеем, написал об этом: «Лучшие произведения для детей, выпускаемые в нашей стране миллионными тиражами, воспитывают у ребят любовь к Советской Родине, к своему народу. Они помогают формированию высоких коммунистических идеалов, расширяют кругозор, приобщают юных читателей к труду, пробуждают у них интерес к знаниям и к искусству...»

Раскрыть юной, хрупкой душе всю прекрасную многосложность жизни, привить ей высокие нравственные идеалы нашего социалистического общества—почетную эту задачу детские и юношеские писатели страны решают творчески, решают на «отлично». И, думаю, нет, уверен, VII Всесоюзное совещание молодых писателей, по счастливому совпадению проходящее в Международном году ребенка, откроет нам новые имена. Думаю также, что на страницах их первых книг мы не встретим скучной дидактики, бесплодного морализирования и заигрывания с читателем. Дети ведь сразу раскусят это. Потому что есть «Тимур и его команда», есть «Дорогие мои мальчишки», «Республика ШКИД» и удивительная страна Швамбрания.

А удивительный край—Тюмень—ждет своего сказочника-мечтателя, чтобы стать страной ребячьей мечты. О скольких же таких «странах» предстоит написать вам, мои младшие товарищи,—поглядите только на карту Родины!

*В. Асаваз*



**Борис ПОЛЕВОЙ**

Мне особенно приятно обратиться к молодым писателям потому, что свыше 80 молодых авторов пришли в большую литературу через двери дорогого мне журнала «Юность». Опубликованы сотни рукописей. Но вот когда сейчас я раздумываю насчет своей редакторской работы, над тем, чем мы можем за последние годы особенно гордиться, что



**Расул ГАМЗАТОВ**

У нас в Дагестане все с особым почтением и любовью относятся к старикам. Это испокон веков. Сейчас, я замечаю, у нас в стране такое же отношение к молодым. Ты молод, ты делаешь нужное людям дело—почет тебе и любовь.

Как бы высоко ни летал орел, он возвращается в родное гнездо. Возвращается к седым вершинам, чтобы набраться новых сил и летать еще выше. Почему я так говорю? Нужно делать в жизни главное дело.

Наша литература многонациональна. Многие писатели многих национальностей, которые раньше не имели выхода на простор, сейчас широко известны. Кайсын Кулиев, Мустай Карим, Давид Кугультинов—эти имена говорят сами за себя. Они стали известны благодаря тому, что каждый из них по-своему воплотил в своем творчестве великие традиции русской литературы.

Могучий ветвистый дуб, трава на лугах, горная река шумят по-разному, говорят на разных языках. Но все они говорят об одном—о родине, давшей им жизнь. О великом и вечном многообразии жизни. Говорят, не заглушая друг друга.

Традиции нашей многонациональной литературы у писателей молодых, а значит, полных сил и замыслов, должны получить новое, свое развитие. В нашей стране сложилась новая историческая общность людей—советский народ. Культура слова сегодня немислима без интернационального звучания. Тема интернационализма—вечно прекрасная тема. И кому, как не молодым, развивать ее?

Большое событие у нас в стране—всегда праздник. VII Всесоюзное совещание молодых писателей—праздничное событие. Что сказать еще на празднике слова и молодости, на празднике наших надежд? Поэт в таких случаях читает стихи. Обращаясь к моим молодым друзьям, мне хочется прочитать стихи:

*Могу я быть наставником едва ли,  
Но ты запомни, молодой поэт:  
Стихи—птенцы веселья и печали—  
Без боли не рождаются на свет.*

*Поешь хвалу, бросаешь ли  
проклятья,*

«Сердце русского писателя было колоколом любви, и вещей и могучий звон его слышали все живые сердца...»

М. Горький

ОБЛОЖКА РАБОТЫ ХУДОЖНИКА ЮРИЯ ИВАНОВА.

- 1 «СЛОВО К МОЛОДЫМ».
- 3 «УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА!»
- 5 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕБЮТ».  
Диалог первого секретаря Вологодского обкома ВЛКСМ Александра КОСТИНА и ответственного секретаря областной писательской организации Александра РОМАНОВА.
- 6 «ЖИВЫЕ КРАСКИ ТВОРЧЕСТВА».
- 7 «СОГЛАСИЕ».  
Очерк Рустама ВАЛЕЕВА.
- 9 «ДВОЕ У ОЗЕРА».  
Рассказ Георгия КОПЫТИНА.
- 12, 18 «КАК ЭТО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ...».  
Очерк Ираиды ПОТЕХИНОЙ.  
СТИХИ УЧАСТНИКОВ VII ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.
- 15 Вячеслав ШУГАЕВ.  
«СМИРЕННИЦА МОЯ». Размышления о прозе.
- 20 «К ЧЕХОВУ, В МЕЛИХОВО».  
Фотоочерк Алексея НИКОЛАЕВА. Василия МИШИНА и Владимира ЧЕЙШВИЛИ.
- 22 СТИХИ УЧАСТНИКОВ ЛИТОВЪЕДИНЕНИЯ  
«РОСТСЕЛЬМАША».
- 25 ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СМЕНИ».
- 26 «НА ЛЬДИНЕ».  
Рассказ Вячеслава СУКАЧЕВА.
- 28 Виктор АСТАФЬЕВ. «ЗРЯЧИЙ ПОСОХ».

Главный редактор А. А. ЛИХАНОВ

Редколлегия: В. С. ГЛЕБОВ, Б. Л. ДАНЮШЕВСКИЙ, В. И. ДЕСЯТЕРИК, А. Ю. КОМАРОВ, А. П. КУЛЕШОВ, В. В. ЛУЦКИЙ (заместитель главного редактора), В. Г. ПОБЕДОНОСЦЕВ (ответственный секретарь), Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Е. И. РЯБЧИКОВ, В. А. САЮШЕВ, В. И. СЕВАСТЬЯНОВ, Г. С. ТЕРЗИБАШЬЯНЦ (главный художник), Б. А. ФАИН, Д. Н. ФИЛИППОВ, Г. Н. ЧЕБОТАРЕВ, О. Н. ШЕСТИНСКИЙ.

Художник С. П. Тюнин. Технический редактор Л. И. Курлыкова.

нашло наибольший отклик у молодого читателя, что завоевало читательское сердца, что, профессионально говоря, дало наибольший эффект в деле коммунистического воспитания юношества, на ум приходят три книги. Это небольшие повести. Повесть Владислава Титова «Всем смертям назло...», повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» и повесть Бориса Агеева «Текущая вода». Эти повести — как бы куски жизни. Они каждая по-своему рисуют интересные, яркие и жизненные образы героев нашего времени, типичные советские характеры в типичных ситуациях. И в силу этого эти книги наше советское юношество, наш комсомол как бы прижали к своему сердцу.

Вот думаешь о действительно редком успехе, выпавшем на долю небольших повестей: откуда он, этот успех? Ведь Владислав Титов по профессии не литератор, а горный мастер, Борис Васильев в прошлом офицер-сапер, не имевший литературного опыта, Борис Агеев — до той повести никому не известный смотритель маяка на Дальнем Востоке. В чем же сила их книг? Почему они сразу прочно встали на полки библиотек? Думается мне, сила в жизненной правде, в них запечатленной, в авторской искренности, с которой рассказана эта правда, и, наконец, в том, что авторы рассмотрели эту правду с партийных позиций.

Жизнь наша удивительно богата. Она выковывает такие характеры, создает такие ситуации, дает писателям такие сюжеты, какие порою не придут в голову и литератору с самым богатым воображением.

Раздумывая о своей профессии, прекрасной профессии литератора, я пришел не к новому в общем-то выводу, что именно героизм советских людей является и сегодня знаменем нашей жизни, что непрерывная эстафета героизма, уже перешедшая от дедов к отцам, переходящая сейчас от отцов к сыновьям и внукам, которые уже носят комсомольские значки и совершают замечательные дела, эта эстафета идет и идет по победному маршруту. И если у писателя зоркий глаз, чуткое ухо, если в нашей жизни он не наблюдатель, но активный участник того удивительного, что вокруг нас все время происходит, если он, вооруженный нашей идеологией, умеет чувствовать биение пульса своего народа, герои будущих книг будут всегда тесниться вокруг него. Говоря это, думаю прежде всего о нашей литературной смене.

А когда герои будущих книг рядом, когда можно дружески пожать их руку, тогда они, и это с уверенностью можно сказать, будут ждать твоих будущих книг, молодой писатель.

*Юрий Трифонов*



Петр ПРОСКУРИН

Сейчас из-под пера молодых идет густой поток рассказов, повестей, а с романами у них туговато. Может быть,

потому, что роман предполагает немалый жизненный опыт, смелость, желание пойти на риск и, если хотите, определенное мастерство. Иногда начинаешь читать роман — и то и дело наталкиваешься на жесткие, выпирающие конструкции, ощущаются почти мускульные усилия автора в попытке свести концы с концами. Такие романы умирают еще на письменном столе, а ведь, кажется, есть все: и материал интересный, и герои, и идеи... Но все это втиснуто нетерпеливым автором в жесткие рамки насильственной конструкции.

Никак нельзя забывать, что писательство, как и любое творчество, построено на принципах живой жизни. Необходимо непосредственно почувствовать атмосферу, осмыслить ее в себе и в тех, с кем сталкивался в жизни. Важно изнутри понять и врага, и друга, и женщину, и ребенка. И не только понять, но и перевоплотиться в изображаемого героя. Потому и отношения с героями очень сложные. Особенно они усложняются в большом романе — каждому персонажу нужно определить его место, не обделить солнцем, простором...

Я пожелал бы молодым писателям большей дерзости в освоении жанра романа. Это трудная форма, но она полнее любой другой, на мой взгляд, дает возможность познать и отразить действительность, историю народа и отдельной души человеческой. Возможности его в познании и исследовании жизни, в поисках средств ее отражения неисчерпаемы. То и дело вспыхивают споры о романе. Говорят, что он вырождается, исчерпал себя. Нет, я убежден: роман — самый гибкий и жизнеспособный жанр. Он еще постоит за себя. И кому, как не вам, входящим в литературу, обогатить сокровищницу прекрасного этого жанра. Трудно, понимаю, решиться... Трудно. И все-таки держать надо смелость, пока есть силы, пока есть свежесть мироощущения, и не надо бояться трудностей и даже ошибок. И это и многое другое потом переплавится в опыт, в достижения, в победу.

*Юрий Трифонов*



Юрий ТРИФОНОВ

Молодым писателям я хотел бы пожелать прежде всего многописания. Того самого, о котором Чехов говорил: «Многописание — великая, спасительная вещь!»

Под молодыми писателями я разумею людей, истинно одаренных талантом, а не тех, кто ищет в литературе выгоды. Но как определить: есть у тебя талант или нет? Многописание определит. Талант нельзя скрыть. Бесталанность тоже. Все выясняется довольно скоро. Пожалуй, точнее так: хотел бы пожелать, чтобы не иссякало желание писать много! Может быть, во мне говорит страх, который преследует писателя на

склоне литературного опыта: а вдруг волшебная пружина ослабнет? И не будет тебя толкать к столу, к бумаге? Я пережил трудные годы, как ни странно, в молодости,—впрочем, в молодости они особо мучительны—когда казалось, что неохота, невозможно, не о чем, некогда... Потом это проходило. Вместе с жизнью.

И еще вот что хочется пожелать: помнить, что у нас за плечами великая литература. Никогда не забывать об этом. После Чехова нельзя писать пошло. После Достоевского нельзя писать не всерьез. После Булгакова, Платонова, Бабеля, Пильняка нельзя писать примитивно.

Впрочем, писателям истинного таланта говорить об этом не нужно, а таланта не имеющим—бесполезно.

И те и другие будут делать свое дело.

*Ирина Тургенева*



**Олег ШЕСТИНСКИЙ**

Каким себе я представляю молодого писателя?

Ответ на этот вопрос неразрывно связан с общегосударственными задачами, стоящими перед нашим народом. То есть молодой писатель, как нравственная личность, как граждански мыслящая личность, должен быть на уровне требований своего Времени. Каждый из нас занимается какой-либо одной отраслью знаний или искусства. Но писатель должен быть сведущ не только в достижениях своего жанра, но и в областях знаний, далеких от его непосредственных интересов. Это даст ему возможность мыслить ассоциативно, широко сопоставлять явления, новаторски подходить к метафоре, к образности, глубже постигать характер человека. Одно дарования недостаточно, чтобы создавать произведения, несущие на себе печать народности. Дарование должно развиваться вместе с развитием умственного, образовательного, гражданского горизонта молодого писателя. На одном даровании не ускачешь далеко. Нынешнему Пегасу, чтобы скакать, необходимы и мыслительные способности своего хозяина.

И еще: молодому писателю необходимо изучить хотя бы один язык, ибо это дает возможность приобщиться к еще одной культуре и, в частности, к еще одной поэзии. Живительные соки индустриальной культуры—великое средство духовного обогащения. Недаром все наши классики владели одним или несколькими языками.

Быть молодым писателем—это значит быть в ежедневной ответственности перед читателем, а следовательно, перед родным народом.

*Шестины*



**Камиль ЯШЕН**

С каждым Всесоюзным совещанием молодых писателей в нашу многонациональную литературу вливаются новые силы, и нам, старшему поколению, радостно видеть и сознавать, как развивается, зреет, обретает активное гражданское звучание творчество молодежи.

Новые силы—это новые поиски творческого постижения мира, новые художественные средства воплощения образа современника на страницах произведений. И прекрасно, что молодые являются в этом, в главном, достойными преемниками завоеваний старшего поколения писателей. Прекрасно, что в их книгах находишь глубокие мысли и горячие чувства, находишь подтверждение идейной бескомпромиссности и партийной страстности в утверждении идеалов нашего общества.

Молодые достаточно осознают, какая мера гражданской ответственности ложится на их плечи.

*Дружнице, на наших плечах  
Отныне Земля дорогая...*

Так пишет в одной из своих поэм лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана Эркин Вахидов. Пусть же эти слова молодого поэта станут девизом, программой жизни и творчества всей нашей молодой писательской поросли.

Ощущать ответственность перед народом, перед временем—гражданский долг художника. Ведь строки произведений—это дыхание эпохи. Чтобы черты ее обрели достоверность, литератор должен ежедневно, ежечасно крепить связь с жизнью, проявлять кровную заинтересованность во всем, чем живет наша великая страна, идущая в светлое завтра. От этого зависит масштабность мысли, воплощенной в художественных образах.

И еще завет молодым, взявшимся за перо,—ни на минуту не забывайте, что мы, литераторы, находимся на передовых рубежах фронта идеологической борьбы. Борьбы непримиримой, не ради славы—ради счастливой жизни на земле. Остаться в стороне от нее мы не имеем права, нам нести слова ленинской правды в сердца и умы людей во всем мире.

Коммунистическая партия видит в писателях своих верных помощников в деле идейного и нравственного воспитания советского человека. Отмечая достижения нашей литературы, она вместе с тем призывает к повышению общественной значимости создаваемых произведений.

Партийная и гражданская целеустремленность, требовательность к своему труду—вот где обретет крылья талант.

Сердцем внимайте голосу партии!

*К. Яшен*

# УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА!

Подсказано Горьким

Забота о литературной смене—славы Горьковский традиция, передающаяся от одного поколения литераторов другому.

— Учитель, воспитай ученика, чтобы было у него учиться!—этот авторитарно-выраженный давней советской давней своим нормам уходит в славу времени молодости советской литературы.

Еще Александр Серафимович в двадцатые годы руководил литературным кружком на Троицкой. Перед кружковцами выступали В. Маяковский, Ф. Панферов, М. Шолохов и другие.

Не было Союза писателей, только консолидировались писательские силы, а идея Горького о создании рабочих литературных университетов, о литературной учебе молодых, о приходе талантов из рабочей среды в литературу обрели плоть и кровь.

В 1933 году по инициативе Горького в Ленинграде был создан РПУ—рабочий литературный университет. Занятия были вечерние, рабочие приходили сразу после смены. Проводились известные литературоведы Г. Туховский, А. Дымшиц, В. Дружин, Творческие семинары вела П. Раковская, В. Рождественская, Н. Брун.

В работе с молодыми литераторами Союз писателей действует рука об руку с комсомолом, в соответствии с не раз принимавшимися совместными постановлениями, в которых немаленькие технико-организационные, хорошо продуманные мероприятия создаются и обеспечиваются необходимые условия для творческого роста.

Среди них на первом месте следует поставить Всесоюзные совещания молодых литераторов. Каждый раз, когда они проводятся, это становится событием в общественно-культурной жизни страны, и каждая раз после такого совещания в писательские ряды вливалось хорошее пополнение.

## Поколение Зои и Олега

Так назвал Евгений Долматовский молодых писателей, ровесников Зои Коосмадемьской и Олега Кошоваго, приехавших на I Всесоюзное совещание молодых в марте 1947 года. Они только вернулись с фронта—в выгоревших гимнастерках со следовыми пятнами пота, в каревоых сапогах, прошивая до этого в боях подразделения всю страну и пол-Европы. Многие были обожжены войной—в прямом и переносном смысле. Помните у Лукича: В этом зарыве петровом Выбор был небольшим—Лучше прийти с пыляем ружьем.

Чех с пустой душой. Артиллерист Александр Николаевич пришел без руки, танкист Сергей Орлов—с рубцями на лице, еще не скрытыми бородами горел в танке. Газарец-миниметчик Эдуард Асодов—с черными складками на глазах.

Но пришли сильным духом, закаленные в огне боя. И все тылились из войны, из битвы за Родину высокое чувство гражданственности, выстрадавшие, выстрадали сердцах дум теми и нашими ириве слова и образы, чтобы их выразить.

Михаил Дудин, Михаил Лукин, Семён Гудзенко, Алексей Надолгонов, Сергей Насонов уже опубликовали свои стихотворения по фронтовым газетам, выходили к читателю с книгами стихов и прозы. Но большинство шло широко не печаталось. Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Сергей Басулин, Юлия Друнина, Михаил Лылов, Сильва Капустинка, ее земляк Гавриил Шен, грузины Радзак Марголиани и Исидор Новиченко. — это и было поколение Зои и Олега.

Несколько дней, с 3 по 8 марта, молодыми голосами гудели залы и комнаты большого дома на Марсовом. Здесь, в ЦК комсомола, проводили пленарные заседания и занятия в семинарах. Открыл совещание первый секре-

тарь ЦК ВЛКСМ Н. Михалков. Основные докладчики сделали А. Фадеев, В. Герасимов, А. Таардовский, И. Эрэнбург, К. Симонян, А. Сурков, В. Вешневский, Н. Тихонов, С. Маршак, П. Антокольский. Они же руководили семинарами.

Три дня проходили занятия в семинарах прозы, поэзии, детской литературы, проводили в обстановке сердечности и глубокого, уважительного внимания и молодежи. Ученствованием совещания было больше дружелюбно, но проведение и глубокого обсуждения, тщательно и всесторонне, требовательно и чутко.

Воспитай Субботин вспоминает: — Несколько часов разбирали мои стихотворения Александром Александровичем Сурковым, а потом четырнадцать из них большой подборкой были опубликованы на страницах «Огонька».

— У кого есть желание лично астротреться с нами—мы к вашим услугам,—приглашали старейшины литературного цеха. Нужно ли говорить, как благодарно слетались глаза молодых.

Именно в эти дни многие начинающие поэты и прозаики побывали дома у Тихонова, Маршак, Исмаилов и других известных художников слова. Так, на квартирах, у известных поэтов, любимых авторов с утра начинались заматывающие беседы мастеров с молодежью и заканчивались поздними вечерами.

Но менее сердечными, горючими и добрыми были в эти дни встречи с секретарями ЦК комсомола, куда участники совещания были приглашены для разрешения личных вопросов и общественных дел. И о каждом из них была проведена подлинная забота.

К первому совещанию с предельной оперативностью были выпущены два больших сборника: альманах молодых писателей, изданный «Молодой гвардией», и «Молодая Москва», выпущенный издательством «Московский рабочий».

Эти книги и сейчас бережно хранятся у участников совещания, теперь широко известные писатели. Для многих тогда это были первые их печатные работы. Была у каждого цельные полки книг своих произведений, а у некоторых—и собрание сочинений.

В мае 1942 года в Ленинграде состоялась конференция писателей Ленинградского и Волжского фронтов (вдуматься только: в блокаде городом Ленинград—конференция писателей). В докладе «Писатели и Великая Отечественная война» анализировал творчество поэтов, Николай Тихонов говорил: «Просто удивительно, до чего велика культура советского человека. Среди военных тревог, в трудной боевой жизни люди складывают стихи, чтобы передать в них свои лучшие чувства. Эти поэты—наша поэтическая резерва, они обновили Союз писателей после войны. Дело старших поэтов—вспомогать им помогать, воспитывать их».

Слова оказались пророческими. Этот резерв действительно обновил наш Союз после войны. Вступилась в жизнь участников Первого Всесоюзного совещания молодых, собравшихся в марте 1947 года: А. Ананьев, С. Антонов, С. Бирюдин, Г. Бикланов, Д. Вадарев, С. Воронин, П. Воронько, О. Гонимир, С. Гудзенко, Г. Гаматов, А. Досталь, М. Дудин, Ю. Друнина, Н. Дорно, Е. Ишан, Я. Кошловский, М. Лукин, А. Маширов, С. Наровчатов, А. Недолгонов, В. Солсухин, Н. Стадлинков, В. Тушинов, Н. Трякин, Б. Зубякин, В. Тандриков, М. Лылов, М. Майков, Т. Халипидин, В. Субботин, Н. Новиченко, Р. Марголиани, Р. Овчинников, Г. Эрик, Мустаф Карим, А. Сильванский, Н. Шулдин, Михаил Казаков, Г. Полянов и много другие.

Теперь они—ядро Союза писателей СССР. Вместе с ними должны были прийти на совещание Борис Богатиков, Михаил Кулибинкин, Павел Коган, Николай Майков, Алексей Лебедев, Арон Колшанский, Николай Отрада. Они должны были прийти и занять свое место в поэтическом строю. Созданные врагом, они упали в путь.

И остались навсегда молодыми.

# БИБЛИОТЕКА «СМЕНЫ» В УРЕНГОЕ

Редакционные комнаты, несколько месяцев наплавившие библиотечный коллектор, опустели — первая партия книг для библиотеки отправлена.

Ежедневно в редакцию продолжают приходить посылки и бандероли с книгами из разных концов страны. Вместе с книгами мы получаем тысячи писем, в которых читатели восхищаются трудовым подвигом и энтузиазмом молодых строителей и желают комсомольцам Уренгой «дел новых, дерзновенных».

«Дорогие строители, пионеры Уренгой, мы благодарны вам за ваш благородный и нужный труд. Надеемся, что наши книги помогут вам жить, работать, творить. Счастья вам!» — пишут сотрудники библиотеки из Уфы.

А вот письмо учеников 9-го класса школы № 2 подмосковного города Электростали:

«Уренгойцы! Мы гордимся вашими успехами на трудовом фронте. Ваш нелегкий труд для нас, комсомольцев, — беззаветный пример советского героизма и мужества. У себя в школе мы проводим классные часы об Уренгое, выпускаем газету «Сказание о земле Сибирской». Пусть книги, собранные комсомольцами, станут символом дружбы между строителями нового Уренгой и комсомольцами нашего класса».

Читатели по праву считают, что книги, подаренные уренгойцам, станут верными спутниками и помощниками в их трудной, но прекрасной жизни и работе в суровом крае. Поэтому так понятно желание многих дарителей познакомиться со строителями Уренгой.

«Комсомольцы дружно откликнулись на призыв «Смены», и очень скоро деньги для покупки книг были собраны. Многие принесли свои любимые книги».

Очень просим помочь наладить нам переписку с уренгойскими комсомольцами. Нам интересно знать об их делах, работе, отдыхе. Также хочется, чтобы книги, посланные для библиотеки, оказались полезными ее читателям. Мы старались подобрать и общественно-политическую, и художественную литературу, книги на спортивную тематику, по искусству. Письмо это мы хотим закончить такими словами:

Взметнулась стройка над тайгой,  
Здесь вечно молодости жить.  
И с комсомолом Уренгой  
Отныне будем мы дружить.  
Пусть эти стихи далеки от совершенства, но написаны от души.

Комсомольцы Кольванского сельскохозхозяйственного техникума».

Книга на Севере имеет особую ценность. Условия работы, быта в строящемся поселке нефти- и газодобытчиков трудны, сложна и проблема организации досуга. Не всегда в первую очередь возводятся Дворец культуры, и кинотеатр, есть объекты, более нужные поначалу: жилые дома, дороги, столовые, магазины... Но не зря говорят, что не хлебом единым жив человек. В рюкзаках первопроходцев вместе с самым необходимым всегда и томик

любимого писателя. В Новом Уренгое сейчас считанное количество книг, и они бережно переходят из рук в руки. Их дают почитать буквально на день-два. Уренгой ждет новых книг. И это хорошо понимают наши читатели, особенно комсомольцы старшего поколения — старшее поколение первопроходцев.

«Обращение «Смены» взволновало нас и заставило вспомнить давно минувшие годы, когда мы, комсомольцы 30-х годов, по призыву Центрального Комитета комсомола приехали на Дальний Восток, чтобы обжить этот край и поставить его богатства на службу Родине. Нам приятно, что и сейчас, через 40 лет, можем принять участие в освоении Севера. Посылаем из личной библиотеки книги и верим, что они помогут вам не только в культурном отдыхе, но и в преодолении трудностей, которые будут встречаться на вашем пути. Мы уверены, что вы с честью решите возложенные на вас нелегкие задачи».

Комсомольцы 30-х годов Николай Моисеевич и Лариса Матвеевна Мельник из Симферополя».

«Мой отец, старый большевик и участник гражданской войны, в 1944 году отдал всю нашу библиотеку (около 200 книг) школам в районах, только освобожденных от фашистской оккупации».

Я могу послать пока только 24 книги да еще копия рукописного литературного журнала, который издавался на фронте в нашем авиаполку. Этот журнал писали во время войны в перерывах между боями. Человек всегда остается человеком. Только что ты прорывался через стену огня на цель, отбомбился и взял курс домой. Но за тобой охотятся немецкие истребители, шарики по небу прожжотеры, ловят тебя, бьют зенитки и пулеметы всех калибров, а ты маневрируешь, ищешь лазейку, чтобы уйти. И вот ты дома. Тебя встречают друзья, ждет короткий отдых... Ты переполнен радостью оттого, что вернулся живой, и тебе хочется пить, танцевать, писать стихи...

Посылаю вам, ребята, журнал только одной эскадрильи, а у нас их было четыре. Верю, что вы сумеете понять девчонок сороковых годов. Знаю, вам трудно, и очень хочу, чтобы вы были сильными, смелыми, добрыми, здоровыми и любимыми. Успехов вам!

Ольга Тимофеевна Голубева, бывший штурман 46-го гвардейского орденов Красного Знамени и Суворова III степени Таманского женского авиаполка ночных бомбардировщиков. Саратов».

Продолжает пополняться «Золотой фонд» библиотеки — из книг выдающихся партийных, государственных деятелей, замечательных военачальников, писателей и деятелей искусства».

Пятитомное собрание своих произведений прислал первый секретарь Правления Союза писателей СССР Георгий Марков. Вот что пишет писатель, сибиряк, организовавший в родном селе Новокусково уникальную библиотеку: «Шлю вам, прославленным покорителям Уренгой, сердечные пожелания новых трудовых подвигов! Восхищен и горжусь вашей героической работой!»

Порой авторы передают свои книги из «неприкосновенных» запасов. «Отдаю свои последние книги, зная, насколько это важно для уренгойцев. Ведь я сам когда-то был в комсомольских отрядах, когда работал на целинных землях Казахстана. Тогда мы жили в землянках и в короткие часы отдыха

*Коллекционер Уренгой;*  
*Выступавший для целинных земель - с современными возможностями культуры дорог, ставших дач, болатина отбыл дачей!*

*Бывший комсомолец - Штурман*



георгий марков  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ПЕРВЫЙ  
строгосовы  
Москва 31 декабря 1977 г.  
«Художественная литература»  
1978

*Комсомолец 1948 г.  
Уренгой  
с помощью уренгой  
6 чк  
Торпе  
ЮРИЙ  
НАГИВИН  
МОЯ  
АФРИКА*



радовались каждой книге. При встрече обвините за нас, бывших целинников, уренгойцев», — написал ростовский прозаик Валерий Замыслов. В своих письмах писатели делятся творческими замыслами, спрашивают мнение о своих книгах.

«Очень рад откликнуться на обращение журнала «Смена» о сборе книг для библиотеки в Новом Уренгое. Из моей библиотеки я отобрал 26 книг, из них одиннадцать, в которых опубликованы мои очерки и стихи».

Я от всего сердца желаю жителям Нового Уренгой здоровья и счастья, успехов в делах и отдыхе».

В 1934 году, после окончания Ейского летного училища, я выбрал себе работу военного летчика не в пределах центральных областей, а поехал на Дальний Восток. Жил в землянках, на полевых аэродромах, охранял границу с воздуха, участвовал в боях на озере Хасан, прожил в тяжелых условиях шесть лет. И горжусь этим! Служил рядовым летчиком-истребителем, потом комиссаром авиаполка имени Ф. Э. Дзержинского в годы Великой Отечественной войны. Тяжело раненный в бою, не роптал на тяжести того лихолетья: сделал более 120 боевых вылетов, сбил несколько самолетов врага и только после войны, будучи инвалидом, демобилизовался. Однако, получив пенсию, и не ушел в тихую заводь, стал работать в Гражданском воздушном флоте, а когда со здоровьем стало плохо, ушел с работы и занялся журналистикой. Написал и опубликовал около тысячи очерков на военно-патриотическую тему».

Я всегда восхищался и восхищаюсь боевым настроем молодого нашего авангарда — комсомолом, в рядах которого я состоял с 1925 года».

Завидую всем участникам и вершителям комсомольских строк. Если бы был молодым, то обязательно был бы в рядах боевых дружин на самых почетных, а значит, и трудных стройках».

И, посылая для уренгойцев книги, считаю себя косвенным строителем Нового Уренгой, а хотелось бы быть вместе с ними!

Всего Вам хорошего. С уважением, Александр Журавлев».

На сегодня «Золотой фонд» пополнили писатели: Аделя Алексеева, Анатолий Гай, Виталий Захаров, Юрий Кошнов, Юрий Красавин, Владимир Лазарев, Альберт Мифтахутдинов, Валентин Распутин, Борис Рахманин, Нина ТолчENOва, Игорь Халупский, Александр Черевченко, известные деятели искусства Сергей Юткевич, Эльдар Разапов, Марк Местечкин, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, Герой Социалистического Труда строитель Николай Злобин».

Благодарим всех товарищей, приславших книги для библиотеки в Новом Уренгое».

Ждем ваших новых книг, товарищи! Напоминаем наш адрес: 101457, ГСП, Москва, А-15, Бумажный проезд, 14, журнал «Смена». Повторяем, литература может быть любой: художественной, политической, научной, учебной — интересы молодых строителей поистине неограниченные».

Комсомолец Уренгой

*Молодые разведчики и дубытчиким*  
*вооружены подвешены*  
*дурной мне выборы, —*  
*это книгу, таске неважно*  
*квдатуре с выборами, тем*  
*лима она обвекте и дурна.*  
*Отит и ввн, дурнае дурна,*  
*и фисан павонга вооружены*  
*таме дурнае ввн и дурн*  
*прославил ввн, ввн,*  
*та павонга и и дурнае*  
Сергей

18/9-78  
Москва

**ВАДИМ  
КОЖЕВНИКОВ**  
ПОВЕСТИ

*Может быть...*  
*Уренгой*  
*С. В. Кожевников*  
*1978*

**СЕРГЕЙ  
САРТАКОВ**

**А. РОМАНОВ.** Больше двух лет прошло со времени принятия постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью». Напоминаю об этом потому, что считаю VII Всесоюзное совещание молодых писателей важным поводом обсудить результаты нашей работы с литературной молодежью, разобраться в просчетах, наметить новые направления. Говорю «нашей» абсолютно искренне, поскольку считал и считаю: комсомол помог пройти школу жизни многим талантливым литераторам и успешно продолжает выполнять прекрасный свой долг — воспитывать тех, кто придет им на смену.

**А. КОСТИН.** Приятно слышать такие слова, Александр Александрович. Комсомольцы Вологодчины гордились и гордятся литературными традициями области, своими всенародно известными земляками — поэтами и прозаиками, рады крепкой дружбе и плодотворному сотрудничеству с ними. Недаром премии имени Александра Яшина, учрежденной областной комсомольской организацией, удостоены Василий Белов — в прошлом секретарь Грязовецкого райкома ВЛКСМ, Виктор Коротаев, Ольга Фокина и вы. Приятно и сознавать, что, работая рука об руку с писательской организацией, с нашими молодыми поэтами и прозаиками, мы тем самым способствуем укреплению и продолжению литературных традиций родного края.



Ответственный секретарь  
областной писательской организации  
поэт Александр РОМАНОВ

Однако хочу поддержать проблемный, аналитический настрой нашей беседы, заданный вами с самого начала. И, скажу, волнует меня прежде всего качественная сторона нашей совместной деятельности по воспитанию творческой смены. Внимание, которое ей уделяем, многообразие возможностей, которые ей сейчас предоставлены, — с этим, безусловно, должна сочетаться и высокая требовательность. Воспитать в творческой молодежи чувство ответственности за свой дебют — в том и видится мне качественная сторона работы, которую мы пока ведем, не боюсь преувеличения, успешно. Сами знаете, только с поры принятия постановления мы совместно организовали около двухсот творческих отчетов, семинаров, встреч молодых литераторов...

**А. РОМАНОВ.** Прибавим к этому еще постоянное их участие в Рубцовских и Яшинских чтениях, в работе 7 литобъединений.

**А. КОСТИН.** Иной раз и задумаешься: окрепнет ли по-настоящему тот или иной голос, прозвучавший с такой действительно широкой трибуны?

**А. РОМАНОВ.** Конечно, опасения такие не напрасны. Комсомол с душой взялся за поиск способной литературной молодежи, буквально на наших глазах движение это обрело массовость. Молодые с жаром пробуют свои силы — это хорошо. Хорошо, что тяга к творчеству не превращается в нахрапистость, когда вместо Пегаса упорно скачут на пони к заветным дверям издательства и журналов. Хорошо, когда увлечение писательством — вторая рабочая смена, так сказать, — не мешает главному делу жизни, не расхляпывает человека в желании стать профессионалом в своем деле. Не секрет: бывает, что «грешение» перышком некоторые расценивают как свалившийся невзгод отсюда дар бесценный, и большой бедой оборачивается для человека подобная потеря ориентации. Может быть, есть такие среди тех, о ком мы заботимся, о ком сейчас так заинтересованно беседуем. Что ж, ошибки неизбежны. Увидеть, предупредить их — это, безусловно, наша задача.

Скажу, что мы, писатели, очень требовательно относимся к вступающим на литературную стезю. Молодой литератор — не писатель, нет! — это звание, считаем, еще заслужить надо. Вот у нас в области из числа литактива 24 человека уже выпустили по одной, а кто даже и по три книги. А достойным рекомендовать в Союз писателей мы сочли одного — прозаика Владимира Широкова. Совсем это не значит, что книги остальных плохи. Но в Вологде, где живут и работают Астафьев, Белов, Коротаев, Фокина, и смена должна быть не количественной, а качественной. Публикация, конечно, — весомое основание для рекомендации, свидетельство творческой

активности начинающего литератора, но прежде очень уж хочется испытать радостное удивление — гляди-ка, по-своему узелки вяжет, самобытен! Оригинальный почерк, этакую «вкусинку» — вот что хочется ощутить, вот о чем речь.

**А. КОСТИН.** Думаю, в появлении своего почерка, той «вкусинки», о которой вы говорите, первоочередную роль играет биография молодого писателя. Хотя вроде и не вяжутся эти слова — молодой и биография, — но ведь, наверное, не столь важно много успеть, пережить, сколько прочувствовать увиденное, выработать на этой основе собственный нравственный кодекс. Тогда весомым будет печатное слово, обращенное к людям.

Уверен, недостаточно преподнести свои, чаще всего по молодости смутные еще ощущения, сугубо личные переживания в грамотной словесной упаковке. Успех приходит, когда начинающий литератор старается пристально взглянуть в необъятную картину жизни, в «громадь» дел, участником которых был, есть и жаждаешь быть всегда. И тут настораживает меня заметная приглушенность у наших молодых многих тем, которые звучать должны сочно. Редко встречаю произведения о комсомоле, попадают слабые образы современного рабочего. А ведь девиз VII совещания: «Герой великих строек коммунизма — герой молодой советской литературы».

важнее поддержать способных, не пропустить человека, для которого литературные опыты оказались, как бывает порой, способом выразить отношение к жизни. Вот прочитал я однажды в «Литературной страничке» большую подборку стихотворений Натальи Сидоровой. Потом мне рассказали: в редакции узнали, что Наташа тяжело болеет, не встает с постели, в таком состоянии пишет стихи — необыкновенно дорого, значит, ей это увлечение. В село Бушуиха, где живет Наташа, командировали корреспондента — в газете появилась подборка стихов. А потом редакция помогла девушке стать членом литобъединения при газете «Сельская новь», которая выходит в городе Грязовец.

Сейчас, формируя литературные рубрики, редакция решает в основном, замечаю, одну проблему — по-больше предоставить места молодым. Это важно, конечно. Но также, уверен, важно отводить место и для разбора произведений — для «мастерской», как стало принято говорить, для дискуссионного обсуждения теоретических и практических вопросов — скажем, проблем работы литобъединений и кружков. Пока, на мой взгляд, газета не в полную меру использует свои возможности в этом направлении. А использовать их необходимо, поскольку речь-то о координации наших совместных действий по воспитанию, по ориентации творческой молодежи.



Первый секретарь  
Вологодского обкома ВЛКСМ  
Александр КОСТИН

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕБЮТ

**А. РОМАНОВ.** Справедливо. Хотя замечу, что в изображении современной деревни, в обращении к образу России многие из начинающих радуют новыми красками.

Конечно, писательская организация стремится привить молодым литераторам широту кругозора. Но приходится трудновато, и вот почему. С каким бы энтузиазмом ни относились члены нашей организации к работе с рукописями молодых — всего объема охватить невозможно. Специальной и постоянной литконсультации у нас нет, нет в Вологде и какого-либо периодического литературного органа, при котором она могла бы действовать. А, думается, работа с рукописями — не только рецензирование, это прежде всего контакт с начинающими авторами, это возможность подробнее, в деталях, разобраться в том, кто и по каким причинам никогда не окажется у символического порога первой книги, тому же, кто начнет свой путь, — дать верный ориентир.

Тут, как мне видится, много возможностей у нашей молодежной газеты «Вологодский комсомолец». Обком и коллектив редакции потрудились над созданием литературного лица газеты. Ежемесячно появляются целевые номера, в которых читатели знакомятся с новыми именами. На хорошем уровне ведется конкурс «Турнир начинающих», а поэтический конкурс на премию имени Рубцова — просто-таки на серьезном, солидном. Газета набрала скорость в период подготовки к VII Всесоюзному совещанию молодых писателей — поиск талантов был организован активно, широко, целенаправленно.

**А. КОСТИН.** Я тоже отметил такой оперативный отклик газеты. Но, думается, основывать деятельность только на поиске талантов не совсем верно. Пусть молодой человек не станет участником совещания, не выйдет к читателю с книгой, но долг газеты — реально поддержать его увлечение творчеством.

Таланты не грибы, урожай не станешь собирать к определенному сроку. Да и, сдаётся мне, слишком часто стали мы употреблять это слово: если уж творческая молодежь — обязательно талантливая, если уж ведем поиск — так уж непременно талантов. Один найти — уже событие, уже весомый результат. Получить его, просеивая, так сказать, множество рукописей. Литературный отдел «Вологодского комсомольца» получает и обрабатывает их более четырехсот в год.

**А. РОМАНОВ.** Отдел, знаю, не велик, трудно приходится. Говоря о возможностях газеты, я что имел в виду: рукописи не только рецензируются, но и выход на полосу имеют.

Действительно, талант — это не частая находка;

**А. КОСТИН.** Согласен. И знаете, о чем еще подумалось: вот мы по линии комсомола предоставляем молодым творческие командировки — опыт хороший, и он привился. А итоги поездок — почему бы им не обрести гласность на страничке газеты?

**А. РОМАНОВ.** Можно ведь организовать и творческие группы, причем не обязательно для командировки. Вот в Череповце действуют два литобъединения. Город промышленный, постоянно развивающийся: сколько интересных проблем, сколько прекрасных возможностей для молодого литератора активно восприимчивому к жизни! Лучшей «мастерской» и не придумать. И редакция приобрела бы ценного коллективного корреспондента.

**А. КОСТИН.** Конечно, задумавшись, мы обязательно найдем, как говорят, неиспользованные резервы. Но считаю, что творческая молодежь должна помогать нам в их поиске, должна сама обращаться к обкому и писательской организации с предложениями, просьбами, информировать нас. То есть обратная связь необходима, иначе ведь что-то можно до поры до времени и не заметить.

Вот вы упомянули Череповец. Ведь долгое время и не разбирался как-то, есть в нем молодые литературные силы или нет. Не от безразличия вовсе, а от обилия других проблем: город-то набирал промышленную мощь, бурно развивался. Ну а когда пришел черед, оказалось, что молодых литературных сил с избытком хватило на организацию серьезного литобъединения.

Но если бы сами начинающие литераторы вышли с предложением организовать такие творческие школы — неужели им бы не пошли навстречу?

**А. РОМАНОВ.** В конце минувшего года мы провели там трехдневный творческий семинар, который помог выявить способных авторов. Причем выезжали туда почти все бюро писательской организации. Отрадно, что из среды рабочего класса «стучатся» в литературную молодежь люди, несущие в себе настоящий творческий накал. Это прораб Николай Кузнецов, шофер Валентин Федоров, вальцовщик Игорь Воробьев и другие. Но они долго молчали, не заявляли о себе.

**А. КОСТИН.** Потому и считаю этот пример в некотором роде упреком молодым: так ли обязательно ждать указующих и организующих действий с нашей стороны? Почему бы самим не выйти с предложениями?

**А. РОМАНОВ.** Я думаю, что в этом да и в других случаях сказывается отсутствие совещательного органа у вологодской творческой молодежи — совета. Такая форма объединения молодых есть в ЦК ВЛКСМ, во многих республиках при ЦК ЛКСМ, при многих обкомах комсомола, она хорошо себя

# ЖИВЫЕ КРАСКИ ТВ

зарекомендовала. Надо такой совет и в Вологде создать.

**А. КОСТИН.** Да, совет помог бы эффективнее сочетать конкретные формы работы, помог бы их упорядочить. Помог бы разобраться с литобъединениями. А то, посмотрите, если обратиться к литобъединениям—есть ведь определенное разнотипие. В Череповце делается упор на рецензирование и разбор рукописей, такие же объединения, как при «Вологодском комсомольце» или при «Сокольской правде», основную задачу видят в широкой публикации. По-разному понимается и принцип членства: в литобъединении при газете «Звезда» в поселке Шексна принимают только с публикациями, опытных, так сказать, а в объединение при «Сокольской правде» города Сокола—всех желающих. Рукописи, уже отрецензированные в Череповце, частенько попадают в «Вологодский комсомолец». Желание опубликоваться в областной газете понятно, но дело-то в том, что приходится рецензировать повторно.

Вопросы эти могут показаться на первый взгляд частными. Но они отражают главную проблему наших литобъединений—отсутствие центра, который направлял бы и руководил деятельностью литобъединений. Такую функцию, вероятно, мог бы выполнять совет.

**А. РОМАНОВ.** Он стал бы еще одной эффективной формой сотрудничества писателей и комсомола в деле воспитания идейно закаленной и творчески зрелой писательской смены.

**А. КОСТИН.** Именно. И еще необходимым, требовательным нашим помощником. Поскольку, если зримо представить школу партийной принципиальности и гражданской активности молодого литератора, то ее классы были бы не на десятки—на сотни учащихся. А отличным аттестатом—звание советского писателя. В таком ответственном деле учителям одним пришлось бы труднее без помощи наиболее зрелого актива учеников. Вот в чем мне видится роль совета как нашего помощника.

И все-таки возвращаясь к началу нашей беседы, любые организационные меры окажутся бесплодными, если сами начинающие прозаики и поэты не осознают ответственности за свои дебюты. Ведь в литературном цехе учеба обходится дорого—за счет читателя, который ждет от слова, от мысли, обращенных к нему, зрелости, глубины, гражданской остроты. Напоминаю молодым о том, что истинный писатель не может не идти в ногу со временем, необходимо напоминать и о том, что читатель—рабочий, колхозник, инженер, ученый—научился обгонять время. Пятилетка в четыре года, в три, даже в два—разве мало подобных примеров? Значит, идти в ногу со временем недостаточно, его нужно научиться обгонять. В ожидании, что это поможет сделать некий мудрый наставник, можно оказаться в положении грустно смотрящего вслед удаляющимся огням поезда, на который опоздал. Наставник всегда даст совет, поправит, но есть вещи, зависящие только от самого человека, от его гражданского чувства.

**А. РОМАНОВ.** Да и трудно советовать тому, кто о жизни слышал и знает из книг. Бесплезно. Творчество его может с точки зрения литературных критериев выглядеть пристойно, но ценнее все же шероховатости, возникающие при взволнованном общении со временем.

У нас в области хорошо зарекомендовали себя встречи молодых прозаиков и поэтов с тружениками города и деревни. Тут уж действительно герой рядом. Думаю, что комсомол может и улучшить эту хорошую форму работы: например, приглашать молодых рабочих на творческие семинары или на занятия литобъединений. Пусть послушают, покритикуют.

**А. КОСТИН.** Тем более что у критиков, особенно молодых, все заметнее этакая благость.

**А. РОМАНОВ.** Да, ощущается. Но больше беспокоит недостаточное внимание маститых к дебютам молодых. Многие книги нашего литактива, к сожалению, прошли незамеченными в прессе. Ведь какие бы громкие фразы мы ни говорили молодым об ответственности за выбор темы, за ее решение, нужно конкретно показывать им, где эта ответственность снижена, где снижена требовательность.

**А. КОСТИН.** Конечно, недостаточное внимание критики—факт, который не может радовать. Но задумаемся, Александр Александрович: вот мы не один раз за беседу говорили о дебютах молодых вологодских писателей. Вот же самый все-таки весомый результат нашей деятельности—у многих есть первые книги, есть, с чем прийти к VII совещанию. Ведь если такие уважаемые издательства, как «Современник» и «Молодая гвардия», издадут Сергея Чухина, Леонида Беляева, Владимира Широкова, Вениамина Шарыпова и других,—значит, то, что мы вкладываем в понятие «растить творческую смену», имеет реальное воплощение.

**А. РОМАНОВ.** И, главное, мы смело можем сказать, что у нас есть воспитанники.

**А. КОСТИН.** Я бы даже уточнил—единомышленники.

Писатель и время. Писатель и пятилетка. Эти слова мы встретим на обложках многих книг, в рубриках многих изданий. Публицистические выступления литераторов составили уже и продолжают пополнять не одну серию: «Письма с заводов и фабрик», «Писатель и время», «Шаги»—ежегодник Союза писателей СССР и другие.

Откроем один из последних выпусков ежегодника. Проблемы воспитания подростков, наставничество, содружество геологов Монголии и СССР, ударное строительство ЛЭП-750, использование атома в мирных целях—вот далеко не полный перечень тем, с которыми выступают в сборнике писатели Федор Абрамов, Юрий Полухин, Владимир Тендряков, Бронислав Холопов, Илья Фонаков. И, возможно, в этих очерках—прообразы героев будущих произведений писателей. Ведь не только в кабинете, а в непосредственном общении с человеком труда, с соиздателем работает писатель, обогащается знанием жизни, исследует ее, обнаруживает явления, питающие его ум и чувства, его творчество. Так и только так рождаются произведения, насыщенные актуальными проблемами, дающие высокие примеры нравственной чистоты тружеников заводов и полей.

Знание живой жизни, глубокое проникновение в многосложный процесс духовного и гражданского становления современника—вот главная, определяющая, живая краска творчества.

Горький, встречаясь с молодыми писателями—по сути, с будущим советской литературы,—всюкий раз подчеркивал, что без обречения этой краски не может состояться настоящий писатель, народный писатель. Он призывал продолжить традиции, зародившиеся в недрах русской классической литературы. Разве не замечательно, что Дмитрий Мамин-Сибиряк пришел к всемирно известным «приваловским миллионам» именно после множества страстных, отмеченных талантом публициста, ясностью видения жизни очерков об уральских заводах и фабриках, о работе сплавщиков, после великодушных путевых заметок «От Урала до Москвы». Классики русской литературы потому и оставили литературное наследие поистине общенародной ценности, что самые яркие краски их творчества были почерпнуты из жизни, приукрасить которую им не позволяла сама суть таланта—его гражданственность. Потому и говорим об их произведениях: памятники литературы.

Ныне мы видим наших писателей, признанных и начинающих, на строительной площадке, в колхозе, в заводском цехе; писательские посты по инициативе литературно-художественных журналов и газет организованы на крупнейших объектах пятилетки, в краях и областях, развитии которых партия уделяет самое пристальное внимание. Посмотрите, на какие расстояния простирается это творческое содружество литературы с производством: КамАЗ и БАМ, Тюмень и Нечерноземье, Нуρεкская ГЭС и Чебоксарский тракторный...

А если говорить о маршрутах писательских бригад, то география их действительно необъятна—вся страна.

Как не вспомнить в связи с этим горьковские идеи о сериях «История фабрик и заводов», «История деревни», большую творческую и организаторскую работу писателя над созданием сборника «Две пятилетки». Ведь это—источники советской литературы, ее первооснова. То, из чего выросло множество талантливых произведений о рабочих, сельских

тружениках, о солдатах Великой Отечественной, о людях науки, чем по праву гордится советская литература, в чем советские писатели выступили первооткрывателями новых тем, новых художественных средств изображения действительности.

Конечно, было бы неверно представлять, что общение писателя с его героем должно выглядеть примерно так: герой работает на поточной линии, и тут же писатель гайки, скажем, вместе с ним закручивает—вот оно, мол, непосредственное общение литературы с производством. Нет, это было бы примитивно и бесполезно.

Вырастить хлеб—большое искусство. Написать документальный очерк о хлеборобах—высокое искусство. Написать о них повесть или роман—великое искусство. Хлебороб трудится на земле, трудится над колосом, рожденным землей. Писатель же должен потрудиться не только над произведением, но и как бы стать и колосом и хлеборобом, его взрастившим,—увидеть красоту, поэзию труда человека, о котором пишет. И, главное, не упиваться только красотой, но помнить и о суровой правде жизни. И если не сумеет писатель сделать эту главную краску—живое движение жизни народной—яркой, достоверной, сочной, то читателю придется довольствоваться «безбелковой» духовной пищей.

В последнее время мы становимся свидетелями того, что пьесы, повести, поэмы о человеке труда стремительно завоевывают популярность, завоевывают заинтересованную читательскую аудиторию. Потому что все больше и больше литераторов, молодых в том числе, осознают, что нет много для их творчества пути, как оказалось, по образному выражению Всеволода Вишневского, у времени в плену. У времени, в которое неизмеримо возрастает ответственность литератора за свое слово перед читателем.

Нынешняя пятилетка проходит на гребне научно-технической революции. А это значит, что самым насущным вопросом становится сейчас овладение новой, невиданной доселе техникой, системами автоматизации, культурой производства. Современный рабочий—это специалист высокой квалификации, человек развитых способностей. И вот в развитии способностей, в повышении общего культурного уровня советских людей важнейшее место занимает книга. Заметьте, велики цифры тиражей, а потребность в книге еще не совсем удовлетворена, недаром Советский Союз называют самой читающей страной мира. Литература у нас, безусловно, влияет на социальный прогресс, безусловно, является активнейшим борцом за прекрасное завтра страны, его соиздателем. Поэтому писатель не может, просто не имеет гражданского права оставаться только беллетристом. Эпоха бурного развития науки и техники, порождающая новые характеры, новые конфликты, новые проблемы, требует от него ясной гражданской позиции, дара воспитателя, активности публициста—иными словами, общественной активности.

Следуя горьковским традициям, советские писатели стремятся разнообразить и укрепить связи литературы с жизнью народа. Прекрасным проявлением этого стремления стали дни советской литературы. Они прошли во многих республиках, краях, областях, городах и доказали, что непосредственное общение, диалог необходимы и читателям и писателям. Именно в нем рождается взаимопонимание, происходит взаимообогащение.

Писатель и время

МОЛОДАЯ ПРОЗА ДАЛЬНОГО ВОСТОКА

Виктор Васильев

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРЕЛЫ

«ВАЛКОВ ЕГО РОДОВОЕ ИМЯ»

Николай Михайлович, ЭТОТ ДОЛГИЙ ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ



# ОРЧЕСТВА

Радует, что это осознают и молодые писатели. Литературная молодежь—постоянный участник читательских конференций, дней литературы, круглых столов, проводимых комсомолом и писательскими организациями на предприятиях и стройках. Часты встречи с земляками—тружениками полей Оренбуржья—прозаиком Петра Краснова; шахтеры-дальневосточники хорошо знают произведения Александра Плетнева; заводская молодежь Москвы и Подмоскovie любит стихи Олега Кочеткова. Все они—участники VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Все они пришли в литературу с трудовой биографией: Плетнев—шахтер, Кочетков—слесарь, Краснов много потрудился на полях родного колхоза. Им знакома жизнь, они несут ее приметы, ее краски в свое творчество, всякий раз сверяя с ней: а не тусклы ли они, не стерты ли? И хочется надеяться, что прозвучавшие на семинарах VII Совещания имена талантливых прозаиков, поэтов, критиков, драматургов прозвучат потом вот так же широко и по стране. И читатели увидят в книгах молодых страстное желание быть рядом, быть вместе с ними—в труде, в свершениях, в заботах, в раздумьях о жизни.

И не назовешь иначе, чем делом прекрасным и нужным, начинание комсомола и Союза писателей—создание серий произведений молодых.

Закончена и удостоена премии Ленинского комсомола серия «Молодая проза Сибири». Родившаяся по инициативе ЦК ВЛКСМ и Госкомиздата РСФСР в ходе совещаний молодых писателей, она явилась как бы постоянно работающим творческим семинаром. И символично, что пятидесятый, последний, ее том, составленный из публицистических очерков начинающих литераторов о важнейших комсомольских стройках Сибири, был назван «Созвездие Сибири»—такое название четко отражало смысл книги: создать картину героических дел молодежи Сибири.

Начала выходить серия «Молодая проза Дальнего Востока», талантливые произведения начинающих авторов печатаются в сериях «Молодые голоса» издательства «Молодая гвардия», «Первая книга в столице» издательства «Современник». Почти в каждой республике существует издание или библиотечка, в которой молодым—«зеленая улица».

Девиз нынешнего VII Всесоюзного совещания молодых писателей—«Герои великих строек коммунизма—герои молодой советской литературы». Почему выбран именно такой девиз? Потому, что в размахе великих новостроек особенно ярко проявляется характер современника, ощущается ритм свершений, пульс эпохи. Молодой литератор, обращаясь в своем творчестве к трудовому подвигу первопроходцев, оказывается соучастником самых ударных дел, самым непосредственным образом соприкасается с жизнью.

Учитесь у жизни, будьте рядом со своим героем: рабочим, сельским механизатором, инженером, ученым—к этому призывает старшее поколение писателей молодую литературную смену.

Призывает и подает пример истинной гражданской активности.

Леонид Ильич Брежнев подчеркивал: «...чем теснее связь художника со всей многогранной жизнью советского народа, тем вернее путь к творческим достижениям и удачам».

Молодым художникам слова, чей путь в литературу только еще начинается,—это лучшее напутствие.



ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ИВАН НИКИТОВИЧ ПАНФИЛОВСКИЙ.

ки рабочие люди, отец—шахтер, мать—лекарь, так что нетрудно будет найти общий язык. Беспокоило его только одно: родители, конечно, подумают, что он приехал с претензиями к ним, станут волноваться, заискивать перед мастером. В таких случаях чувствуешь себя очень неловко.

И как же он удивился, когда родители Саша сами стали жаловаться на сына.

— Если хотите знать, ведро угля не принесет, вот он какой,—говорила мать.—За сестренкой присмотреть—лучше и не проси.

Вид удрученной, усталой от забот женщины произвел на Ивана Никитовича тяжелое впечатление. Муж ее, напротив, казался неунывающим здоровяком, усмехался, слушая жену, но о своем сыне отзывался тоже нелестно.

— Спасибо от него не жди. А ни в чем не отказываем: надо денег—на тебе деньги, купить что—пожалуйста. Ну, машину я ему не доверяю, сопляку. Так он сам взял да и поехал. И расшибся. Вон с шишкой, на черта похож.

В эту минуту с улицы пришел сын. Голова и вправду обвязана. Смущенно поздоровался с мастером, но смотрит открыто. Панфиловский знал этот взгляд: посмотрит так вот—и не солжет, не станет увильвать от ответа.

Эх, была не была! Иван Никитович заговорил о том, что Саша человек толковый, отметки почти по всем предметам хорошие и на практике старается, схватывает главное, даже такой опытный сталевар, как Трапезников, отметил парнишку... Отец хмурил брови, надавливая рукой на стол: давал понять, что не одобряет разговора. А у матери посветлел взгляд—сперва удивленно, затем благодарно. Парнишка глянул на мать, улыбнулся и пошел к двери.

— Я тут недалеко буду,—сказал, обернувшись.

...На обратном пути Иван Никитович опять думал о своих питомцах. Вспомнил другого парнишку, тот сильно отличался от Саша: обидчив не в меру, в каждом жесте вызов окружающим, к тому же невероятный лгу. Говорили, мать за него боится, сперва даже не хотела отпускать от себя, в чужой-то город. Может быть, и была права. А этот другой. Похоже, тянет его к самостоятельности. В какой-то момент, видно, человеку надо выходить из-под опеки родителей. Он уже и рассуждает по-взрослому и будущую свою профессию любит, хватку в нем отмечают. А какво же ему, когда мать и отец то пичкают подарками, то докучают упреками. Что-то еще в детстве было между ними испорчено, сейчас гордому мальчишке не поправить. Но потом, когда возмужает, ей-ей же, отношение к родителям изменится.

Иван Никитович засмеялся, покачал головой: вспомнился еще один случай. С Сашей Зельцманом. Разнеслось по всему училищу: Саша угнал мотоцикл! Иван Никитович собрался в милицию. Олейников, как бы не совсем уверенный в правильности его действий, спросил: что, собственно, он будет там говорить?

— А говорить я не буду,—ответил Панфиловский,—возьму этого сорванца за руку и проведу по отделению: пусть посмотрит на ему подобных «удальцов».

Олейников сделал удивленное лицо, но ничего не сказал.

В подъезде Панфиловский столкнулся с матерью парнишки. Плача, торопясь, она стала рассказывать, как все это произошло. Он стоял потерянный, не зная, как утешить женщину. Вдруг переспросил:

— Извините, чей, вы сказали, мотоцикл?

— Я ж говорю, его приятеля. Взял прокатиться, а тут, как на грех, автоинспекция. Прав-то у него нет. Ну, и забрали мотоцикл.

# ВОСПОМ

Совсем недавно Панфиловскому Ивану Никитовичу, сталевару Челябинского металлургического завода, предложили работать в профессионально-техническом училище. В том самом, которое он окончил двадцать шесть лет назад. Правда, тогда училище № 37 располагалось не на улице Мира, а в одноэтажном поселке Першино, в длинном барачном помещении.

В зрелом возрасте человек сдержан, когда речь идет о переменах в жизни. Пожалуй, если бы Панфиловский отказался от полученного предложения, никто бы его укорять не стал. Но преподаватели в училище свои же, заводчане, и это обстоятельство обрадовало Панфиловского: директор Николай Иванович Олейников в свое время тоже закончил «ремеслуху», работал на заводе и по вечерам учился сперва в техникуме, затем в политехническом институте; его заместитель по учебно-производственной работе Аркадий Григорьевич Глезер—тоже выпускник училища, инженер-прокатчик; Жанна Васильевна Молчанова, заместитель по учебно-воспитательной работе, была крановщицей в мартеновском цехе, мастером у ребят... У всех троих Панфиловский замечал несомненные черты, присущие, как он полагал, только педагогам. Сам же он, конечно, такими способностями не обладал, смущался и даже мучился этим. Уверенно он чувствовал себя только на уроке, когда читал ребятам технологию производства.

И олег пришло к нему чувство уверенности, когда, начав работу, он, случайно, защищал своих питомцев в конфликтных ситуациях. Вскоре это было замечено, и Олейников сказал:

— Слишком вы их защищаете, Иван Никитович. Все-таки, знаете, мужские отношения, строгость старшего...

Родители, впрочем, тоже говорили о том же—кто с удивлением, а кто и с удовольствием, все-таки приятно слышать о своем неслухе похвалы от мастера. От мастера, надо сказать, в широком смысле слова—знаменитого сталевара, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета республики.

Так вот, о родителях.

Как-то Саша Быков отпросился домой в Коркино на день рождения и задержался на целую неделю. Иван Никитович, подумав, поехал в Коркино, благо недалеко, а машина у Ивана Никитовича своя. Он знал, что родители парниш-

Рустам ВАЛЕЕВ

**ШАГИ**  
Ежегодник Союза писателей СССР

СЕРИИ  
«ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ»,  
«МОЛОДАЯ ПРОЗА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»,  
«МОЛОДАЯ ПРОЗА СИБИРИ» И ЕЖЕГОДНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР «ШАГИ».

— Так, стало быть, он не угонял?  
— У приятеля он не угонял. А вот из милицейского гаража угнал. Понимаете, ведь он просил приятеля дать на полчаса...

— Извините, он решил во что бы то ни стало сдержаться слово?

— Ну, не знаю...—Мать засмеялась сквозь слезы.—Прошло, пожалуй, часа три.

Панфиловский энергично кивнул и пошел своим путем. Ему было весело, и он как бы стеснялся неуместной этой веселости. А в милиции встретил его следователь, старый знакомый, тоже заводчанин. Иван Никитович в двух словах объяснил, что работает мастером в училище и пришел по делу своего воспитанника.

— Больно уж хвалишь мальчишку,—заметил следователь.—Защищаешь честь мундира?

— Думай что хочешь, но насчет Саша все верно.—И вполне доверительным тоном, как бы сообщая тайну, сказал:—Толковые они ребята. Начальник первого мартена говорит: весь выпуск возьму к себе, пусть приходят.

— Федор Александрович?—заулыбался следователь.—Тот зря не скажет.—Помолчал, вздохнул:—Ремесло они, может, и знают. А в жизни ничего еще не смыслят.

— Не смыслят,—согласился Иван Никитович.—Вот потому-то я их и защищаю.

О Ванюше Панфиловском, пожалуй, нельзя было сказать, что в жизни он ничего не смыслил. Нельзя такое сказать о мальчике, пережившем оккупацию, голод и холод войны, разлуку с родными сестрами, которых оккупанты угнали в Германию. О мальчике, который учился в деревенской школе военной поры—при свете копилки, держа в обмороженных пальцах карандаш, писал первые в своей жизни буквы на обрывках старых газет. И все эти годы, пока учился в школе, помогал старшим пахать, сеять и убирать хлеб. В четырнадцать лет, как заправский крестьянин, носил на спине мешки с зерном, сыпал семена в ящики сеялки, стоял на коннителе, лопатил зерно.

После семилетки решил: что дальше? Не учебное заведение выбирал, как это зачастую делают теперь, а думал, какое ремесло приобрести, чтобы поскорее стать помощником матери. Сестры, Надя и Маруся, вернувшись из Германии, жили на Урале, работали строителями. Они-то и позвали брата, послали денег на дорогу. Мать сняла со старой своей шубенки байковый подклад, сшила сыну брюки, принесла починенные сельским мастером ботинки и сказала:

— Ну вот, пожалуй, можно ехать. Как заработаешь денег, купи, сынок, валенки. И... держись, сынок, держись.

И он держался, потому что понимал: надо работать, стараться—и не пропадет. С той поры помнит он, как жалел—нет, не себя, а молодых своих сестер, сверстников, кто послабее был, кто вовсе сиротой остался с войны. А он что, он не был сиротой, у него была мама, были сестры. И то давнее уже чувство странно, свежо волновало его теперь, когда сам он учил мальчишек главному в жизни: труду. Учил, как мог, и жалел: ведь среди его питомцев тоже были полусироты, ведь не только война приносит в семьи сиротство.

Ивану Никитовичу пришла как-то смутившая его мысль: как, в сущности, мало бывает мы с нашими воспитанниками! Ну, не то чтобы мало: весь учебный день да еще вечер, случается, приходишь—в общежитии у ребят побываешь. Дело не в том, что мало бывает, а в том, что и воспитатели и сами ребята недостаточно заняты общим делом, которое захватывало бы всех без исключения.

В тридцать седьмом училище, конечно, много делается, чтобы насытить жизнь ребят интересными событиями, общением с бывальными людьми. Есть

прочное содружество школы, училища, заводской бригады. Будущие металлурги шефствуют над школьниками, зовут в свое училище, слушают вместе рассказы сталеваров, прокатчиков и доменщиков; рабочие завода охотно откликаются на такие просьбы, понимая, что сегодняшние мальчишки—завтрашняя их смена. А родители ребят—их приглашают и в училище и в цеха—хорошо представляют будущую работу своих сыновей. В училище интересно работает клуб «Патриот», есть свой тир, музей боевой и трудовой славы, стрелковая, парашютная, водноспортивная секции. Вот уж где захватывает ребят общий азарт!

И Панфиловский мечтал о том, чтобы и на практику в цех шли они с таким же азартом, чтобы и тут их объединяло что-то такое, что объединяет на футбольном поле. В горячих мыслях казалось Ивану Никитовичу, что в его пору ребята умели ценить романтику сталеварской профессии. Впрочем, может быть, тут говорила уже его зрелость, кое-что приукрашивающая в той давней поре.

С практикой между тем не все было хорошо. Небольшая, в сущности, группа будущих сталеплавильщиков разбивалась на три и отправлялась в три разных цеха. Мастер, конечно, идет с одной группой. Как там остальные работают, ему неизвестно. Могут постесняться и не спросить, когда что-то им непонятно, а то и просто подыря гонять. А у сталевара и его подручных работа горячая, да и люди это разные, не каждый сумеет быть внимательным. Но главное в том, что они не вместе переживают эти действительно волнующие и нелегкие часы у мартена. А иной руководитель цеха рассуждает: чем меньше практикантов, тем меньше забот. Говорить с ним—дело непростое.

Но ведь есть Федор Александрович Алым, начальник первого мартена! Когда в 1954 году Ваня Панфиловский стал работать во втором мартеновском (первый только строился), начальником смены был у них молодой еще Алым.

— Хлопот вы мне добавите,—сказал Федор Александрович,—но приходите. — Спасибо, Федор Александрович. Если бы вы еще распорядились насчет шкафчиков в душевой—ну, помыть, сменить одежду...

— Добро. Что еще?

— И уголок бы нужен, чтобы я перед сменой мог поговорить с ребятами, настроить на работу.

— Комната оперативок в вашем распоряжении. Двадцати минут, надеюсь, вам хватит.

И вот они стали приходить всюю группой во главе со своим мастером, снимали форменную одежду и аккуратно складывали каждый в своем шкафчике, переодевались в спецовку и шли в комнату оперативок. Иван Никитович распределял ребят по печам: на седьмую, восьмую, девятую... Затем он задавал вопросы, воспитанники его отвечали: об обязанностях подручного, об уходе за сводом печи, о том, как правильно закрывать сталевыпускное отверстие. Мастер ставит оценки, бригадир сталеваров в конце смены выставляет свои.

Примерно так же все это происходило и на уроках технологии производства. Панфиловский изнутри знал технологию сталеварения, умел рассказывать, но когда говорил о заправке печи, завалке, о плавнении и доводке металла, он, знающий все это как свои пять пальцев, волнующийся даже при легком воспоминании о сталеварской своей поре, он просто страдал, не видя иной раз ответных чувств.

А тут после работы каждый спешил узнать, какую оценку поставил ему бригадир и совпадает ли она с оценкой мастера, и Панфиловский удивлялся только, как может преобразить этих парнишек дело, которое они делали вместе. Потом они мылись под душем, переодевались и шли по заводскому двору. В одну такую минуту ему стало хорошо так, что он стал рассказывать о

себе. О том, как в пятьдесят четвертом году, в апреле месяце, пришел во второй мартен сразу первым подручным (при выпуске ему дали самый высокий разряд), о том, что Алым, тогда еще молодой совсем, бы у них начальником смены, и совсем молодыми были старший сталевар Петр Гаврилович Иванцов, его подручные. Тогда работали седьмая, восьмая и девятая печи, а десятая и одиннадцатая только строились. Рассказывал, как пускали новые печи, а потом была армия, а после демобилизации он пришел уже в новый цех и участвовал в его пуске, будучи бригадиром сталеваров. И работал почти двадцать лет...

В первые дни своей работы мастером вряд ли он мог бы увлечь ребят рассказами о будущей их профессии. А тут он рассказывал о сложных вещах: как во время плавления продувать жидкую ванну кислородом, как по ходу плавки брать пробы на анализ металла и шлака—и они слушали с неподдельным интересом.

Как тепло становится на душе, когда они задают вопросы. Работа кажется им захватывающей, они рвутся к самостоятельности.

— Эх,—вздыхнет Саша Каманцев,—скорей бы в цех. Хочется настоящей работы.

— А где бы ты хотел работать?

— Конечно, на электросталеуплавильной!

— Пожалуй, в ЭСПЦ-2 еще возьмут, а в третий... там, брат, плазменные печи, там варят сложнейшие сплавы, высоколегированные стали. И берут в этот цех только выпускников техникума.—И, забегая немного вперед, Иван Никитович рассказывает о работах заводских конструкторов. О том, что скоро плазмотрон окажется настолько послушным сталевару, что тот сможет осуществлять любую траекторию движения плазмотрона и направлять дугу в любую точку рабочего пространства печи. Конструкторы уже разработали устройство для перемещения плазмотрона...

Расставаясь у проходной, ребята спрашивают:

— А вечером придете в общежитие?  
— Приду,—не задумываясь, отвечает Иван Никитович. Конечно, дома есть дела, но...

Вечером в общежитии он рассказывает о давнем, когда он был мальчишкой, юношей. О службе в прославленной Кантемировской дивизии, о параде на Красной площади, о том, как ездил на целину и работали там до седьмого пота. Никогда прежде не замечал он за собой охоты к воспоминаниям. «Наверное, годы к тому клонят»,—думает он озорно.

...В сорок втором, когда их село Нижние Сирогозы заняли фашисты, маленький Ванюша забрел в подсолнухи за баней и увидел там двух наших красноармейцев. Один держал голову другого у себя на коленях. Раненый просил пить.

— Я сейчас принесу воды,—сказал Ванюша и побежал в хату.

Вдвоем с матерью вышли в огород, мать несла бидончик с водой и сверток, в котором была еда, пузырек с йодом и чистые тряпки...

Когда партизаны освободили село, их командира, «батю», окружили женщины и дети. Ванюша протолкался вперед и усталился во все глаза на «батю». Тот тоже глянул на парнишку и вдруг сказал:

— А хороша у вас водичка!

— Я мигом...—ответил Ванюша, но тут их соседка тетя Ольга выставила целое ведро. Командир попил, вытер губы платочком и сказал вроде ни с того ни с сего:

— А славные, ей-богу, у нас ребята. Славные!

«Славные, ей-богу, у нас ребята. Славные!»—думает Иван Никитович. Хорошо ему от этих мыслей, от многочисленных его забот, от согласия с этими и вправду славными ребятами.

# учитель, воспита ученика!

## Могучее пополнение

И 11 Всероссийским совещанием молодых писателей—оно состоялось 15—21 марта 1951 года—в ряды советской литературы пришло новое, сильное пополнение.

В foyer Дома культуры «Правды» на стендах и витринах были выставлены новые книги. А по коридорам клубы правдивой ходили авторы этих книг—второе поколение фронтников.

Совещание открыл Василий Ажгев, ставший председателем комиссии Союза писателей СССР по работе с молодыми. Цифры и факты, которые он сообщил, оказались красноречивыми и внушительными. Период между первым и вторым совещаниями был коротким—всего 4 года. Но за это время в Союз писателей было принято 650 литераторов, а 45 произведений молодых писателей (которые принадлежали молодым) были отмечены Государственными премиями СССР. За четыре года (1947—1951) в Комиссию по работе с молодыми поступило свыше 15 тысяч рукописей. Только в областных издательствах вышло 262 книги авторов, выступавших впервые.

Помимо В. Ажгева, на совещании с докладом выступили А. Сурков—о поэзии, Н. Погодин—о драматургии, а Ольга Гончар, которая еще недавно была «семинаристом», сделала доклад о творчестве молодых писателей Украины. С участниками совещания беседовали Н. Тихонов, Ф. Панферов, М. Исмаилов, А. Твардовский.

А потом три дня шли семинарные занятия, которыми руководили мастера литературы.

И появились новые имена: Сергей Залыгин—новый известный романист, Сергей Викул—поэт, главный редактор журнала «Наши современники», Микола Зарудный—популярный украинский драматург, Богдан Чалый—детский поэт, Франц Таурин—российский прозаик из Восточной Сибири, Константин Вандалюк, Евгений Викторович, Василий Федоров—поэты, увлеченные Государственными премиями.

## Содружество

Если участники Всероссийских совещаний 1947 и 1951 годов были главным образом фронтники, то на III Совещании, проходившем в январе 1950 года, основную массу составляли молодые люди, делегированные с производства, представлявшие 50 национальностей нашей страны. Творчество прозаиков анализировал Василий Ажгев, молодую поэзию—Александр Махоров и Михаил Дудин. О некоторых вопросах развития молодой драматургии говорил Виктор Розов.

Но наиболее строгими судьями были сами участники семинара. Три дня в комнатах ЦК комсомола, Центрального Дома литераторов, Союза писателей СССР проходил критический разбор произведений 356 молодых авторов в 38 семинарах прозы, поэзии, драматургии, кинодраматургии, детской литературы.

Семинарами руководили двести известных писателей, в том числе В. Катаев, Н. Тихонов, А. Сурков, В. Катлянская, а также бывшие «семинаристы», сами теперь ставшие руководителями: О. Гончар, С. Антонов, В. Тендряков, В. Розов, Д. Гранин и другие. Практически каждый дал участникам совещания немало своего наставника.

Наставники встречались с учениками не только на семинарах, но и после них. Встречи переросли в творческое содружество. Окрепла дружба между литераторами разных национальностей. Достаточно назвать Веронике Тушновой и Ольгу Капутикян, Александру Межирова и Юсифа Нонашвили, Михаила Дудина и Мустана Карима.

Рисунок  
Вениамина  
КОСТИЦЫНА



**Н**а кордоне Петра Рожковского, расположенном на берегу Иван-озера, я люблю бывать как раз посередине осени. По возможности стараюсь угадать тот момент, когда на озере если не в день моего приезда, то на следующее утро обязательно появятся первые забереги.

И когда я осторожно ступаю ногой на лед, он звенит с призывной нежностью, будто стоит где-нибудь неподалеку зеленая елочка, увешанная гирляндами хрустальных игрушек. Ветер бережно трогает эти игрушки, и они звучат на разные голоса, словно кто-то невидимый выстукивает серебряным молоточком по хрупкому и прозрачному льду такую же хрупкую и прозрачную мелодию.

Строгий дом Петра, возвышающийся на берегу, открывается взору сразу, будто напоказ: вот, мол, каков я, любуйтесь! Правда, вначале, как говорил сам Петр, дом этот был как дом. Правильный дом. Ничего в нем примечательного, ни тем более замечательного и в помине не было. Лесник напрочь снес крышу, сделал небольшую надстройку, а в потолке дыру прорубив, вывел лестницу на второй этаж.

Кажется, что дом живет своей собственной жизнью. Живет спокойно и мудро, созерцая окнами-глазами окружающий его мир. И при виде вечернего зарева, отцветающего в его маленьких окнах, невольно испытываешь ощущение какой-то тайны.

Сейчас я как раз на подходе к дому лесника. Петр встречает меня на высоком крыльце. Я давно приметил, что Рожковский любит все высокое: и дом, и чтобы берег был высок в своей крутизне, теперь вот крыльцо, и сам Петр, широкий в кости, тоже очень высок. У него круглое приветливое лицо, густые, сросшиеся на переносице брови, внимательные и умные глаза излучают доброту, а мощная короткая шея всегда открыта — не сходится ворот рубахи.

Огромный, он как ручной медведь, притоптывает на месте, будто вытанцовывая какой-то танец, а в руках протянутых держит ковш. В ковше бражка, а в той бражке грудятся крупными дробинами размеренные в дрожжах и сахаре дикие яблочки.

— Испробуй, гость дорогой, — с улыбкой ласковой говорит Петр.

Бражка хороша на вкус и душиста очень. Тянет от нее запахом белой кипени зацветшей по весне яблони. Потом Петр распахивает широко дверь.

— Милости прошу в притул.

Дом, по странной своей прихоти, он зовет притулом. А мне это слово не особенно нравится. Притул — значит притулиться, ссутулиться где-нибудь в углу. А Петр — парень здоровый и по основным половицам своего дома ходит размашисто и не сгибаясь.

Сегодня Даши, жены Петра, нет дома. Уехала в Хадакту — в село километров за двадцать от кордона — покупки делать. И поэтому за широким столом мы сидим вдвоем и до седьмого пота гоняем чай. И беседа наша, вначале полусушутливая, постепенно приобретает вид плавный и неторопливый.

С некоторых пор окружающий мир я учусь смотреть глазами Петра. Это полезно. Потому что многие, казалось бы, обыденные явления в природе Петр научил меня видеть по-новому, иначе, чем я привык. То, что раньше для меня было в тени, теперь оказалось высветленным ярким светом человеческой индивидуальности.

До встречи с этим человеком я и не подозревал, как переплетаются в замысловатом кружеве жизни узоры добра и зла. Но попробуй силой разорви, распусти нитку зла без того, чтобы не распустилось все кружево! Вечное единство и вечная борьба...

Так, значит, очень нужно, просто необходимо, чтобы узоры добра всегда были ярче. Или наше зрение было острее.

Об этом я думаю, вслушиваясь в речь Петра.

Потом мы выходим на улицу и долго, до самой темноты, гуляем по берегу озера. Ходим мы всегда в одном направлении — по восточной стороне, однако ни разу не ступив на берег южный. Будто там граница пролегла, либо зона отчуждения, или место трижды проклятое.

В той стороне, если идти неторопливо, можно минут через пятнадцать на дом набрести. Раньше он принадлежал смотрителю линейной связи Василькову. Теперь дом этот пустует. За год, что прошел с той поры, как спешно и неожиданно покинул его хозяин, двор порос бурьяном, а углы дома искусно оплели тенетами коварные лесные пауки.

Дом, такой широкий, занимавший, очевидно, площадь совсем немалую, будто пригнулся, как хищный зверь в густых сумерках, приготовившись к стремительному прыжку.

Я знал Василькова, этого крепкого двадцатисемилетнего парня с короткой прической и насмешливыми, нагловатыми глазами. Ходил он всегда подавшись вперед, и оттого спина его казалась слегка сутулой.

Наверное, каждый дом хранит в себе черты прежнего хозяина, пока в него не заедет новый. Я искал такое сходство и, как это ни покажется странным, находил его. Тайлось в крепком пятистенке что-то от обличья Василькова, от поступи его сторожкой, от чуткой настороженности и характерной только для него позы — стоять на широко расставленных ногах, чуть согнув их в коленях.

Но не от злой памяти той стороной не ходил Петр. А надо так понимать его душевное состояние, что, боль, в самом сердце гнездившаяся, не совсем успокоилась, и, может, чтобы напрочь забыть то, что здесь произошло, потребуются не год и даже не два, а много-много лет. Но такое, впрочем, не забывается...

По утрам уже изрядно подмораживало, инеем побил и окончательно поломало пожухлую траву, и теперь лобные места пригорков стыдливо прятали свою плешь за высокими стволами деревьев. Но ближе к полудню легкий морозец

Георгий КОПЫТИН,  
участник VII Всесоюзного  
совещания молодых  
писателей, Чита

РАССКАЗ

# ДВОЕ У ОЗЕРА

отступал, и если вдруг поднимался ветер, то он тут же нагонял из-за хребта тучи, одна чернее другой, и тогда мелкий дождь моросил долго и нудно весь остаток дня, а потом всю ночь напролет, да еще захватывал в охотку, если расходился по-настоящему, ознобистое утро.

И Рожковский, выходя утром на крыльцо, каждый раз в такую сырость зябко ежился, привычно окидывая взглядом темнеющее день ото дня озеро, которое собиралось с силами, чтобы в большой ветер еще раз, быть может, в последний уже, покуражиться, погрохотать на весь окрест лежащий лес, погонять, как горячих скакунов, гривастые, метровой высоты волны и выплеснуть всю свою незатаенную злость перед долгой зимой на берег.

Но Петр пока и сам еще не мог определить, когда вся эта мокрядь, приползшая откуда-то из-за гор, уйдет наконец далеко на запад, уступив место звонкой напряженности приходящего мороза.

Вчера с утра пораньше Петр ездил в Хадакту. Там он завладел колхозной радиорубкой и перед микрофоном в обеденный перерыв речь закатил на целых пять минут. А вынудили его на это причины весьма немаловажные.

— Ты, Сергей Михайлович, — выговаривал в микрофон Рожковский механизатору Евтимову, — труженик неплохой, и фотография висит твоя на Доске почета. Только вот упрости я председателя колхоза, чтобы снял он фотографию с этой доски. За что, спросишь? А я отвечу. На деляне, которую я тебе отвел под порубку, черт ногу сломит. Лес вывез, а сучья оставил. Я бы не стал стыдить тебя через радио на все село, да и неудобно как-то. Ведь взрослый же человек! Понимать вроде бы все должен. Но дурной пример, как зараза, от одного к другому переходит. Так что давай исправляй свою ошибку!

Ошибка свою Евтимов исправил, а по ее полной ликвидации самолично заехал к Петру на кордон и доложил честь по чести, что, мол, закорил ты меня, Рожковский.

И еще одно событие произошло в этот день.

В свой дом, стоящий на южном берегу озера, вернулся Васильков. Вернулся после двух лет отсидки за браконьерство.

Васильков боком входил в ограду своего дома, вернее, даже не входил, а протискивался, потому что вымахавший по пояс бурьян загородил и без того узкий проход калитки. Он ступил на крыльцо и оставил на нем четкий отпечаток сапога. Васильков снял замок и пошел лепить следы дальше, в аспидную темноту двух просторных комнат, но шагов его не было слышно — их заглушал осевший за два года порядочный слой пыли. Потом он вышел во двор и отворил ставни. Но в дом все равно свет проникал плохо — подслеповатые окна были в грязных подтеках.

Пыль в доме стояла плотным столбом, и у Василькова от нее запершило в горле. И тогда он, выскочив во двор, схватил ведро и, как сумасшедший, помчался к озеру, а потом обратно. Так он носился туда-сюда-обратно раз, наверное, десять и все лил воду на пол, на окна и даже на неоштукатуренные и никогда не видавшие малярной кисти стены. Лил воду обильно и долго — до полного, можно сказать, изнеможения, а передохнув, схватил ерниковый веник и с остервенением набросился на пол. Он тер его с какой-то непроходящей злостью, испытывая к мокрым доскам тоскливую ненависть...

Хотя всегда чурался лесник Василькова, встречи у них все же бывали: дома рядом.

— Послушай, лесник, — сказал однажды Васильков, — скучно ты живешь. В деревню ты не ходок. Бываешь там годом да родом. Танцы не-приемлешь. В чайную не заवेशь тебя, все равно как людей чураться. Посидели бы, поговорили... А ты все мимо ходишь. Нехорошо, — упивался своим невозмутимым тоном Васильков. Цедил фразы сквозь зубы однообразно, почти без ударений, разбивал лениво слова на слоги, будто снисходил до собеседника. И вдруг сорвался, обнажившись: — А что, Рожковский, делать будешь, если лес у тебя начнут под корень сводить или же другие неприятности творить?

— Я все понял, Васильков, — ответил Рожковский. — И твоё предостережение к сведению приму. А уж если кто начнет лес под корень сводить или другие беспоконства творить — тут разговор пойдет долгий и серьезный к тому же.

— М-да, — произнес Васильков, — рискован ты парень, оказывается, Рожковский. Но поживем, а там и увидим.

Столкновения с Рожковским, кроме раздражения, приносили с собой мутную волну злобной ненависти, которая жалящим бичом подстигивала его и со слепым упрямством толкала на новые, более серьезные стычки.

Когда Васильков, договорившись с людьми на стороне, коим лес был необходим позарез для нужд хозяйственных, угодил в руки Рожковского, еще не успев даже и пару деревьев свалить, он подумал, что с такой тактикой далеко не уедешь и надо в корне менять свою методику, заменив вызывающую бесшабашность хитрой осторожностью.

Но в другой раз Васильков попался, да так крепко, что волю вольную лишь на третий год увидел. Он мог бы получить свои денежки за срезанные деревья — и большой привет тогда вам, купатели. Но они пообещали заплатить вдвое больше, если Васильков вывезет хлысты из тайги. И даже трактор дали. В колхозе на время позаимствованный. И вот этим самым трактором он, как танком, прошелея по молодняку и искрошил его в труху. А уже по сосеночкам искореженным вышел на него Рожковский.

Философский вопрос: почему один идет прямо по дороге, не свернув в сторону и не оглянувшись назад, а другой пятаится, раку уподобившись, всю жизнь задом наперед, — не мучил Василькова. Как будто не задавался им и Рожковский. Но каждый из них жил согласно тем правилам, которые и у того и у другого уже успели сложиться во внутренний распорядок, почти незыблемый. Он диктовал мысли, чувства, поступки. Каждому — свои...

Иные люди так свою жизнь поворачивают, так ее устраивают, что все окружающее мелким для них кажется. И еще кажется, что все вокруг существует для них и ради них. А раз так — значит, все можно, все дозволено.

Деньги не вода, а текут. Надо только найти такой источник. И Васильков его нашел. Окружающий его мир — вот тот источник. Правда, черпая из него, надо каждый раз оглядываться...

Для Рожковского естественные пропорции жизни никогда не смещались. Он видел мир простым и значительным. Озеро, тайга для него тоже не существовали сами по себе. Но все это было с ним на равных. Они существовали друг для друга и потому сближались друг с другом. Человек становился сильнее силой природы, природа — силой человека...

Петр, стоя на высоком крыльце, думал о своей, совсем не приятной причастности к судьбе Василькова, к которой он вынужден был прикоснуться в силу служебного, да, пожалуй, не только служебного, а еще и просто человеческого долга.

Поймав в первый раз Василькова, лесник не стал возбуждать дело и отпустил его с миром. Но как только он прихватил Василькова за этим занятием в другой раз и увидел усажающий по размеру урон, нанесенный урочищу, которое он с таким тщанием берег, Петр с решимостью покарал его. Хотя, передавая акт в районную прокуратуру, мучился сомнениями относительно эффекта наказания: ну, отбудет человек срок, ну, ожесточится он, посянется, может, в нем страх какой. Но ведь главное не это. Главное, чтобы повернулось у человека сердце к добру.

И все же он довел дело до конца. Только об одном умолчал на суде Петр. Навскидку сдуплетил в него Васильков, когда он попытался остановить трактор, трельющий лес. Картечь зло прошелестела над головой, сбив шапку, подняв в холодном страхе волосы дыбом.

Трудно сказать, отчего тогда заряд двустволки не разнес ему голову. Но то, что Васильков резанул по нему сразу из обоих стволов, а не из одного сначала, а затем из другого, дало возможность Петру прыгнуть в кабину и, выбросив оттуда Василькова, заглушить мотор.

Васильков после этого дней пять домой не появлялся, опасаясь, должно быть, что Рожковский заявил куда следует. Но, повяв, что никто его не хватился, а значит, Петр молчал, явился к тому изрядно навеселе и странной торг затеял.

— Дай зарок, — говорит, — что молчать и дальше будешь, а не то сегодня удавлось ночью и оставлю записку, что до самоубийства довел меня ты, Рожковский.

Голос был соткан из лжи и фальши, и потому Петр не поверил ни единому его слову.

— Иди... Считаю, дал тебе зарок.

Рожковский видел, как Васильков вышел из дома и, достав с чердака косу, стал ходить кругом по двору, срезая литовкой засохший бурьян и чертополох. Он ловко орудовал косою — видна была не только сноровка, но угадывалась в широком размахе и сила немалая.

И, странное дело, Рожковский не испытывал к нему былого чувства неприязни. Васильков, расправившись с бурьяном, закидывает косу на прежнее место и исчезает в доме. А Рожковский, взглядом его проводив, кричит жене:

— Собирай в дорогу, Даша! В объезд кордона поеду.

Две лошади у Рожковского. Одна — старая кобылица. Нрав у нее спокойный, и в пути она нетороплива, но зато надежна. А вот с огненно-рыжим жеребчиком ухо остро следует держать. Пуглив он, и оттого рука, держащая узду, в постоянном напряжении находится. И все-таки Петр решил в объезд ехать именно на нем.

Он оттер жеребчику досуха влажные бока и спину. Оседлал.

— Надолго едешь? — спросила жена.

— На неделю, — пристраивая переметные сумки с продуктами, отозвался Петр и, легонько похлопав молодого конька по шее, тронулся в путь. Он рассчитывал объехать все урочища, где маялись с пудовыми колотами шишкарки, добывающие кедровый орех.

Земля и лес устали от обильных дождей. Деревья ежились от сырости,

бросывая крупные дождевые капли, и лес наполнялся приглушенными шорохами.

И только у Петра такая погода вызывала чувство удовлетворения. Прикидывал, на сколько же дней небо затянуло тучами. Хорошо бы до белых мух — до первого снега! Все бы меньше пожаров на его участке было.

Три дня кочевал от табора к табору Рожковский. Предупреждал на всякий пожарный случай, чтобы заготовщики осторожничали с огнем в ясную, сухую погоду и не дай бог пал пустили по тайге. А шишкарки — бичи бичами. Зубы скалят, морды немые, в ответ несут, и понятное дело, почему несут: по два месяца бирюгами безвыходно в тайге живут, человеку новому рады, и не грех в таком случае зубы почистить, покаялякать про жите-бытье, новости поспрашивать. И Петр рад людям разговорчивым, спешит чай, что на цвет заварен чернее самой черной ночи, пошвыркать да пару шишек расшелудить.

Взобравшись на голец, Петр огляделся назад. Источенный ветрами и дождями, острый нос скалы уныло повис над ущельем. Ремень из кедрача опоясывает небольшую сопку. Где-то там бродят с колотами шишкарки.

Молодой конь нервничает. Боясь сорвать копыта об острые камни, примеривается долго, а потом осторожно ступает.

Впереди на узкой тропе открывается небольшая ровная площадка. Но путь к ней преграждает валун. Рожковский низко-низко наклоняется, почти касаясь прядущего уха, и что-то нашептывает жеребчику, должно быть, очень ласковое и сердечное. Тот пятаится, всхрипывая, приседает на задние ноги, и Петр слегка подергивает уздой, поощряя коня на решительные действия. Корпус напрягся, задрожал мускулами и сухожилиями. Тетива свистнула, и огненно-рыжая стрела вместе со всадником слетела с лука.

— Ты молодец, — сказал доверительно лесник и нагнулся, чтобы прикоснуться щекой к лошадиной морде. Он заглянул в огромный черный глаз жеребчика и увидел, как в самой его глубине плещется страх.

— Ведь все позади, дурень, — сказал Рожковский и хотел привстать в стремени, но жеребчик, испугавшись сорвавшегося сверху камня, шарахнулся в сторону, ветвь, нависшая над тропой, ударила в грудь, сбросив лесника на гранитные камни. Сознание в последний миг уловило, как по склону горы покатались камни: это уходил по тропе напуганный огненно-рыжий жеребчик. Сумрачный осенний лес огласила плачем сойка, и деревья тоже в ответ скорбно замахали своими лохматыми лапами, разнося по тайге горестную весть. Одетые в серые рубища, мокрые камни гранита поднимались к самой вершине гольца. Слетавший оттуда ветер врывается в ущелье и, угаснув там, беспомощно плескался в надежде найти выход.

Когда он открыл глаза, то по частой сетке распыленного тумана понял: уже утро.

Молодой жеребчик глуп и боязлив. В лучшем случае он выйдет на табор шишкарей, в худшем — падет, разорванный кляпастой стаей волков.

Петр попробовал встать, но потревоженная боль нахлынула тяжелой волной и придавила его к камням. Он закрыл глаза и лежал так долго, выжидая, когда, наконец, свирепствующая в теле боль спрячет свои когти, утихнув хотя бы ненадолго.

Ветер, как чабан, сгонявший разбежавшихся овец в отару, собрал все тучи воедино и теперь стремительно уводил их в сторону Иван-озера. Тучи цеплялись за кроны особенно высоких деревьев, и тогда они содрогались до самого основания, обильно смачивая дождевой водой каменистую тропу. Не поощряя проказы ветра, кедр сердито размахивал лохматой ладонью над головой Рожковского, отбрасывая в стороны крупные водяные капли. Но кедр тут же радостно залопотал, зашумел, как только послышался треск ломаемых сучьев.

Два дня назад Васильков у отца в Хадакте с трудом выклянчил лошадь и умотал в хребет за орехами. И хотя шишка была уже основательно пообита, он все же сумел наколотить пару кулей, и теперь эти кули свешивались по бокам коня. Каменистая тропа часто делала крутые виражи, и лошадь, постоянно оступавшуюся, была крупной дрожь.

Мокрая ворона спланировала с высокой сосны и уселась на большой валун, с любопытством разглядывая Василькова.

Мир, подтверждающий мудрость непреходящей истины, стал тесен и сократился до размеров узкой, усеянной камнями тропы, четко выделив на ней лежащее вывороченным черным пластом тело.

«Это Рожковский», — подумал Васильков, и мысли его, опередив ноги, суматошно запрыгали по тропе. Глаза жадно ощупали лесника и, возликовав, вспыхнули сухим огнем.

Сидящая на камне ворона понимающе каркнула. Злобный комок взъерошенных черных перьев взлетел и вцепился когтями в толстый сук высокой сосны. Хмельной радостью бродила сила в теле Василькова от сознания превосходства над физической немощью Рожковского. Он поднялся чуть выше по тропе и остановился на камнях у изголовья лесника.

На самой вершине гольца потешался упругий ветер. Он резкими ударами сбивал с места небольшие камни, и те, рухнув вниз, влекли за собой еще кучу такой же мелюзги, а достигнув дна узкого ущелья, выбивали кастаньетную дробь.

Небо пока было еще в раздумье, чем лучше потерзать землю: избивать ее хлесткими струями воды или же исколотить крупным градом. Василькову не хотелось быть выколотанным под холодным ливнем и тем более угодить под обстрел ледяного града.

— Послушай, — сказал он леснику, — конь моего отца стар и слаб. Он не сможет нести тебя на своей спине. Ты слишком тяжел. Но я вернусь сюда. Сегодня вечером или завтра утром.

Захлопала крыльями одобрительно ворона и вновь слетела с высокой сосны на холодный камень. Тучи неохотно уползли на восток и там, осатанев оттого, что их потревожил ветер, разверзли свои хляби над грядой оцетинившегося леса. С гор, густо клубясь, сполз зыбкий туман. Он убаюкал лесника и понес его в своей кольбели к жарко пылающему костру. Вокруг огня сидят шишкарки. Забородели мужики по самым глазам, лицам на вид ужасные, но говорят речи приветливые. Гости они привечают чин чинарем, как и полагается таежному люду. Утощают наперебой чаем, шутливо приговаривая, полуспрашивая: чай не пил — какая сила?

«Верно», — соглашается Петр и пьет заваренный на брусничных листьях чай, кружку за кружкой. Потом звонко хлопает себя ладонью по животу и, довольный, отваливается от костра.

«Чай попил — совсем ослаб».

Все смеются привычной таежной присказке, а один шишкарь встал и, исчезнув в шалаше, закричал оттуда:

«А теперь — музыка!»

— Музыка я привез тебе, Рожковский,— говорит знакомый голос. Петр понимает, что это уже явь, действительность, он слышит голос, он видит кедр, сосну и сланик, но никак не может отыскать глазами Василькова. А когда, наконец, увидел, то боль когтистым зверем метнулась в теле, раздирая до кости живую ткань.

— Я приехал,— сообщил Васильков и улыбнулся. Но улыбка была судорожной, и она ненадолго задержалась на его губах. Плохая улыбка всегда с пугливой стремительностью слетает с лица.

— Ненадолго же ты удалился от прежнего места,— определил Васильков. И, пылливо окинув взглядом Рожковского, словно бы оценивая, сказал:— У тебя не хватит сил, и ты умрешь на закате этого дня.

— На закате этого дня я буду дома,— упрямо повторил лесник.

Маленький полосатый зверек, доверчиво посвистывая, спустился на землю и с любопытством уставился на ватагу мальчишек. Бурундучок зря свистел, и это он понял сразу, как только увидел разинутые в диком восторге рты.

Сто граммов трепетного пушистого комочка мгновенно превратились в страх, затравленно заметавшийся по небольшой поляне. Улюлюкающая жестокость неслась на двух ногах, крепко зажав в руках дреколье и камни.

Но была еще жалость. Она торопливо перебирала пухленькими ножками и изо всех сил спешила на помощь. Карапуз отчаянно, на самой высокой ноте пронзительно выводил:

— Не нада-а!

— Надо,— сказал мальчишка постарше и взметнул в воздух суковатую палку, потом он ударил, страх покинул пульсирующее тельце, уступив место боли, а затем и она исчезла, и мальчишка равнодушно отошел прочь. Все получилось очень быстро, а потому для него самого скучно, будто спит он походя палкой головку репейника или же сломал назойливо лезущую в глаза вербную ветку.

— Ты плачешь,— сказал карапузу тот самый мальчишка.— Ай-я-яй,— совсем по-взрослому укоризненно закачал он головой.— Наш маленький Сережа Васильков плачет и рыдает. Как нехорошо!

Потом он кинул быстрый, безразличный взгляд туда, где валялся вдавленный в землю бурундучок, и глубокомысленно произнес:

— Это был очень плохой зверек, Сережа. Он разорвал гнезда и питался птичьими яйцами. Он мог наброситься на тебя и искушать хуже собаки. Видишь, бурундучок жий еще. Возьми камень и брось в него.

Похоже, мальш поверил. Уши его чутко внимали лживым словам, а широко распахнутые глаза покидала жалость. Он вытер слезы, оторвал от земли плоский камень и бросил его.

— Теперь он меня не укусит?— спросил он.

— Теперь уж точно не укусит,— в первый раз сказал правду мальчишка.

— Я посижу на этом камне,— показал на серый валун Васильков,— и постараюсь вспомнить кое-что из наших отношений.

— Например?— спросил лесник.

— Ондатры с перемерзшего озера.

— Давняя история.

— Но свежа память.

Боль понемногу забылась, и лесник обрадовался, поняв, что Васильков лгал, когда говорил о том, что жизнь его угаснет на закате этого дня.

Но была еще другая боль, молчаливая и покорная, которая застыла на ослепительно белом снегу в первый год его работы на кордоне. Мороз тогда особенно лютовал. Он заматерел высоко в горах, а спустившись вниз, закалил в студеном горниле деревьев, придав им хрупкость пережженной стали. По ночам деревья, что послабее, лопались с оглушительным треском вдоль стволов. Зверье, спасаясь от холодов, спускалось с хребтов вниз, к подножиям гор, или же разбрелось по падям. И Рожковскому пришлось несколько дней кряду развозить по кордону стожки сена для их подкормки.

Вышел он и на дальнее, совсем крохотное озеро. Лесник еще летом заметил здесь небольшую ондатровую колонию. И сейчас он точно не знал, ушли ли вместе с обильными дождями зверьки по осени в сторону Иван-озера или же остались здесь.

Все-таки он вытащил из саней пешню и вонзил ее острый наконечник в лед. Лед кололся на огромные голубые глыбы, и Петр отбрасывал их в сторону. Они падали за его спину и там дробились на мелкие осколки. И когда морозный воздух со свистом ворвался в лунку, а в глубине вскипела вода, Рожковский забросил пешню в сани и поехал дальше, не оглянувшись назад. А надо бы...

Солнцу надоело обогреть низко висящие над землей тучи, и, скользнув по небосклону, оно выкатилось на чистое пространство, высушило и старательно расчесало своими лучами сердито встопорщенные иглы хвойных деревьев.

Память не была чванлива. И поэтому каждый без труда вспомнил то, о чем думал.

«Тогда лунка, выдолбленная тобой,— вспомнил Васильков,— не помогла ондатрам. Я шел за тобой следом и набрел на это озеро. Как ошалелые, выскакивали они из проруби и ползли в сторону Иван-озера. Некоторые из этих крыс проваливались в снег, откуда уже не могли выбраться. Они бы все равно передохли. Просто не смогли бы доползти до озера. Я их брал за лапы и бил о сосну. Потом бросал в сани. Последнюю ондатру я оставил. Решил посмотреть, далеко ли она сможет уползти по такому снегу. Крупная, она была намного сильнее остальных. Когда я подходил к ней, она переворачивалась на спину и мелко перебирала уже отмороженными лапами...»

Рожковский на обратном пути еще раз решил завернуть на озеро. Вдалеке увидел, как по глубокому снегу вел под узду коня человек. Иногда он останавливался, для чего-то наклонялся, а выпрямившись, с силой взмахивал рукой.

«Я понял, в чем дело тогда,— вспомнил Рожковский,— когда увидел оставленные на льду чуть заметные отпечатки лапок. Это были следы ондатр. Они спасались. Когда водоемы перемерзают, то ондатры их покидают. Через свои норы они уже не могли проникнуть на берег. Снег слежался и плотной пробкой закупорил выходы. Если бы я знал, то сидел бы у лунки и ждал, когда зверьки начнут выбираться наружу. Их еще можно было перевезти на Иван-озеро.

Уже потом я сообразил, зачем ты наклонялся. Ты их убивал. Все деревья на уровне плеч были забрызганы кровью. Последнюю ондатру ты не тронул. Решил поразвлечься. Ступая за ней следом, ты приседал даже от смеха. А когда это развлечение прискучило, ты ударом ноги отбросил ее далеко вперед. Проходя мимо сосны, схватил ондатру за лапы, чтобы размозжить ей голову. И тогда...»

Васильков встал, и его тень шагнула вперед по тропе, скользнув по лицу Рожковского.

— Я уезжаю,— тусклым голосом сообщил он,— и буду здесь поздним вечером.

Ближе к полудню леснику стало лучше. Ноги обрели силу, каменный обруч, давивший на грудь, лопнул. Прохлада, исходящая из влажной глубины леса, выгнала жар из головы, и теперь он даже встал и мог делать по нескольким шагам вперед. Выдохнувшись, Рожковский падал на тропу. Луч нежаркого осеннего солнца проторил себе среди зарослей дорогу в самой подошве горы, и по обочинам этой дороги копошились, словно живые существа, голубые тени...

...Лесник устало прикрыв глаза. На ослепительно белом снегу увидели красные сарапки, ярко вспыхивали рубины и догорали жарки: стекавшая каплями кровь с деревьев окропляла пыльные сугробы и застывала на них мелким бисером. Тогда Васильков не успел ударить последнюю, самую крупную ондатру. Пушистый комок озера горя слабо противился сжимавшей его руке.

Наверное, только гнев рождает в человеке силу нечеловеческую. Рожковскому казалось, что он сможет завязать Василькова двойным морским узлом. Но он не стал этого делать, а зазвездил в лоб кулаком— так глушат быка на бойне, чтобы сразу слетел он с копыт долой, прямо промем глаз, взгляд, закатил. Потому что, рухнув на колени, Васильков долго тряс головой, приходя в себя...

Ондатра выпала из его рук и осталась лежать неподвижно. Рожковский поднял ее. Она уже сохла. Лапки были совершенно твердыми. Как кость. Потом Петр подошел к саням. Зверьки были свалены огромной беспорядочной грудой. Он стал считать.

— Раз,— говорил Рожковский и осторожно клал ондатру у своих ног.— Два, три... десять,— считал лесник. А всего он насчитал девятнадцать.

Рожковский стоял и молча смотрел на эту беспорядочную грудку и слышал, как тяжело вздыхает через прорубленную лунку маленькое озерко. Он выдернул из-за пояса нож и, швырнув его под ноги Василькову, с мрачной решимостью произнес:

— Ты их всех заколаешь, Васильков.

— Ты глуп,— ответил Васильков.— Зачем мне, да еще вдобавок собственными руками, добро закапывать в землю? Ведь это же деньги. Причем дармовые!

С высокогорья подул ветер, он погнал впереди себя колючую поземку.

Озеро больше не вздыхало. Стоявшая в проруби вода промерзла до дна, и озера не стало. Оно умерло.

— Ну вот,— сказал Рожковский, отступая в темноту,— и все...

Оставаться здесь более ему было нелегко. Для этого через три после этих событий Рожковского по делам вызвали в районное лесничество. Оттуда он зашел в госпромхоз, чтобы пополнить запасы пороха и дроби. В дверях неожиданно столкнулся с Васильковым. Тот при виде лесника отпрянул, но потом усмехнулся и, закинув пустой рюкзаком за плечо, посвистывая, удалился своей осторожной, крадущейся походкой.

— Смотри, какая ондатра,— выбросив на прилавок шкурки, похвастался приемщик пушницы.

— И много у тебя таких?— поинтересовался Рожковский.

— Много. Двадцать штук. Только что перед тобой их сдал Васильков,— отвечившая на маленьких весах дробь Рожковскому, балаболит приемщик.— Я вот все удивляюсь, как это твоему соседу среди зимы удалось добыть сразу столько ондатр. Фартовый, знать, парень. И потом, все шкурки пошли по первому сорту. Без единого, можно сказать, повреждения...

Васильков был уже дома и распрягал лошадь, когда мимо промчался Рожковский.

— Эй,— крикнул ему вслед Васильков,— сдал я этих крыс-то, мною убиенных! И деньги за них получил,— вытащил он из кармана ватных брюк разноцветную пачку.— Хочешь,— орал он, куражась,— могу одолжить!

Потом поднялся на крыльцо и долго стучал ногой об ногу, сбивая с валенок снег.

— Как же,— бормотал Васильков, шаркая в темноте дверную ручку,— дам я тебе денег, держи карман пошире.

...В стороне от тропы, на отстойнике скалы сердито рывкнул потревоженный гуран, а над самой кромкой леса, оглушительно хлопя крыльями, пролетел большой черный глухарь. Наплывшие одна за другой в несколько этажей тучи надежно спрятали в своих складках солнце. Полькнувшая молния возвестила о начале грозы.

Ударил гром, и крупный дождь, надо полагать, последний в этом году, неистово замолотил по тропе, забарабанил по холодным, мореным камням и, скрутившись в толстые жгуты, резко захлестал по деревьям, отсекая с ветвей уже непрочную листву. В горах родился мощный поток воды, он не искал себе дороги, а низвергнувшись вниз, яростно прогрыз в размокшей земле узкое русло и устремился по нему к Иван-озеру.

Рожковский, прислонившись к блестящему стволу сосны, слабо засмеялся. Глаза его не увидят заката солнца по той причине, что небо затянуло тучами, а вовсе не оттого, что он умрет...

Поздним вечером Даша подобрала мужа возле высокого крыльца. Она запрягла коня и увезла Петра в сельскую больницу. Врач был старый человек и многое, наверное, повидал на своем веку. Его большие теплые ладони ласково скользили по телу и задержались на груди Петра. От этих чутких рук исходило застенчивая доброта, благостный покой и скрытое сострадание.

В глазах его рождалось удивление, которое сменилось вскоре почти детским любопытством.

— Н-да-а,— озадаченно произнес врач,— случай, прямо скажем, редкостный. А вы через неделю на ноги встанете. Удивительнейшей крепости организм. Прямо железобетон какой-то. Такое, знаете ли, не каждому удается перенести. Но оставим все восхищения. Вам надо спать, и как можно больше,— закончил он и вышел, сухо щелкнув выключателем.

Выписавшись через десять дней из больницы, Петр не стал искать транспорт, а ушел на кордон пешком.

Вскорости Васильков съехал с озера. Стал он задумчив, замкнут, все носил в себе страх того дня. На расспросы дружков отвечал односложно или же отмалчивался вовсе, но, однако, не дерзил, как прежде, чем искренне удивлялся только окружающим, но и отца. Все сошлось на мысли, что годы заключения исправили его, заставили взяться за ум. «Неволя, она кому хошь мозги вправит»,— глубокомысленно замечали по поводу перерождения Василькова.

И только Петр да я знали, что произошло на самом деле.

...Утром следующего дня, когда я покидал кордон, на озере появились забереги. И далеко окрест разносился тонкий, как звон хрустального бокала, звук. Это проказничал утренний ветер. Он покрывал водную гладь озера мелкой рябью, и небольшие волны ломали на тысячу осколков пока еще слабый лед. Озеро же намьоло чистый песок со дна и засыпало им разбитую лодку, и только краешек ее борта тоскливо проглядывал сквозь желтый, погребальный холм.

## Стихи участников VII Всесоюзного совещания молодых писателей

Энвер НИЖАРАДЗЕ,  
Тбилиси

### Мой огонь

Люди на метеоры  
бывают до дрожи похожи:  
сверкнут на мгновенье в небе  
и канут в белесой мгле...

Люди на звезды тоже  
похожи бывают очень:  
в небе однажды вспыхнут  
и вечно светят потом...

И коль человек я тоже,—  
то мне суждено горенье.  
Огонь, что в груди моей светит,  
не виден тебе пока.

Счастливым я стану, если  
придешь к моему огню ты,  
присядешь, и я сумею  
тебя обогреть в пути...

### Море

Волны мчатся на берег,  
словно белые дикие кони  
бегут по зеленому полю.  
Откуда? Куда?  
Я лежу на песке.  
Он меж пальцев любимой струится...  
Август бронзу на плечи  
мне щедро и радостно льет.  
Я свободен от шума.  
Душа наполняется снова  
золотистою тишью.  
Блаженствую...  
В синих слоях  
этих вечных небес  
закутаны мысли мои.  
Ощущение времени  
я утерять незаметно.  
Только к зримому миру  
меня возвращают предметы.  
Преходяща секунда.  
Прекрасное так мимолетно...  
Год за годом пройдут.  
И когда-нибудь в городе снежном,  
в теплой комнате вспомню  
далекое снежное море.  
И огромную раковину  
буду слушать,  
и трепет охватит.  
Снова волны помчатся,  
словно белые дикие кони  
по зеленому полю...

Зульфия АТОУЛЛАЕВА,  
Душанбе

### Кишлак

Ты спросил у меня о моем кишлаке...  
Я его нарисую.  
Смотри же!  
И колючки, и травы на желтом песке,  
и домов разноцветные крыши.  
Утром крик петуха над моим кишлаком  
пронесется.  
Округа проснетесь.  
Наполняются горы парным молоком—  
это запах домашний плеснется...  
И девочка на плечи поднимет кувшин  
и пойдет к роднику за водою.  
Небо луч ей пошлет  
с золотистых вершин,  
отразится в глазах синевую.  
Мой кишлак...  
Он стоит на земле века.  
Жизнь его никогда не прервется!  
Тот не в силах понять красоту кишлака,  
в ком дехканна сердце не бьется...

Юрий ПОЛЯКОВ,  
Москва

### Из истории МОСКОВСКИХ УЛИЦ

Старичок бредет по новой улице  
(Все дома равны как на подбор),  
Под ноги глядит себе—любуется:  
Старый парк, особнячки, собор...

Следом я иду,  
сосредоточенно  
Думая о той, что всех милей,  
Замечаю домик скособоченный,  
Несколько старинных тополей...

А за нами мальчуган, уверенно  
Едущий на папе в детский сад,  
Видит, как шумит большое дерево,  
Срубленное год тому назад...

✻  
Неясная погода на душе—  
Тепло и знобка.

Верно, будет ливень.  
Невнятный гром—

на верхнем этаже  
Готовятся к дождю меторопливо:  
Таскают воду,

молнии куют,  
Чеканят град.

Небесная работа  
Кипит, чтоб последождевой уют  
Унял усталость,

отдалил заботы.  
Деревья наклоняются в окне,  
И тучи наплывают, небо засты,—  
То принимает,

чувствую,  
во мне  
Природа осторожное участие.

✻  
Ломают старую школу—  
Маленькую восьмилетку.  
В новой идут уроки.  
Здесь тарыхтит мотор.  
Дым от сгоревшего хлама,  
Неуловимый и едкий,  
Еле заметно колеблет  
Маленький школьный двор.  
Сторож ворочает пепел  
Обгоревшей веткой,  
Щурясь от горького дыма  
И утирая глаза.  
Дружно взлетают искры—  
Маленькие отметки:  
«Двойки», «пятерки», «тройки»—  
Сыплются в небеса.

### Комната невесты

Пахнет свежестью и травой  
эта комната, словно луг.  
И цветы, как ранней весной,  
устлают здесь все вокруг.  
Солнца луч блистает на сузани\*,  
шторы, словно фата, дрожат.  
Пялы (прислушайтесь сами!)  
отзвук свадебных слов хранят.  
И слова невесты под вечер  
звучат, как дожди в покос.  
И вдоль стана,  
минуя плечи,  
льются струи тугих волос.  
Жест любви здесь нежен и скром.  
Красота покоя бережет.  
Этой комнаты мир огромен.  
В ней весна царит круглый год...

\* Сузани—национальная таджикская вышивка

Перевел Владимир ШЛЕНСКИЙ

# КАК ЭТО В НАЧИНАЕТ



Д о железнодорожной станции «Тегумская», что под Ригой, электричка домчала меня минут за тридцать. Здесь воздух чист и снег пушист. По нему прямыми лучами расходятся узкие тропинки. Сошли люди с электрички и врассыпную по ним. А мне указали на красивую липовую аллею: «Прямо на ГЭС выведет».

В «святой святых», у пульта управления, сегодня дежурит инженер Артур Снипс, он же начинающий латышский писатель. Единственный из молодых прозаиков Латвии, рекомендованный для участия в VII Всесоюзном совещании молодых литераторов.

Пять лет назад эти «слеты молодых» Михаил Кузьмич Луконин, руководитель нашего поэтического семинара на VI Всесоюзном, определил как «удивительное, уникальное явление», поскольку «во всем мире, нигде на земле нет такого внимания к молодой смене литераторов». А нам, этой «смене», он завещал помнить главное, что должно быть в наших произведениях,— «жизненность и приверженность к людям, советской действительности...».

Об Артуре Снипсе ко времени нашей первой встречи мне были известны лишь некоторые «анкетные» данные: тридцать лет, работает начальником смены на Тегумской ГЭС, женат...

В Союзе писателей Латвии Петерис Зирнитис, референт по работе с молодыми, дополнил мои сведения:

— Среди молодых писателей Снипс—самый спелый плод. Скоро в местном издательстве выйдет его первая книга. На русский язык не переведется...—И еще добавил:—Нелегко вам с ним будет. По характеру он человек некомпанийский, замкнутый. Больше любит слушать, чем говорить... Моя первая встреча с Артуром. Высокий, белокурый, с могучими плечами, бородач. К одежде, сразу видно, относится без мещанского почитания, без заискивания перед модой...

Придавая большое значение первому впечатлению, я внимательно вглядываюсь в черты лица, вслушиваюсь в слова Артура и вдруг замечаю, что собеседник мой занят тем же, чем и я,—приглядывается. Ко мне.

Время от времени его глаза, с кажущимся отчуждением разглядывающие

СТАРАЯ РИГА—ЛЮБИМОЕ МЕСТО ПРОГУЛОК АРТУРА СНИПСА. ОН ХОРОШО ЗНАЕТ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РОДНОГО ГОРОДА И УВЛЕЧЕННО, С ТОЧНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКСКУРСОВОДА РАССКАЗЫВАЕТ О ЕГО ИСТОРИИ.

комнату, неожиданно и очень быстро впиваются в меня, как будто проверяя сказанное мною на искренность. Просит:

— Только не приукрашивайте меня, пожалуйста, даже ради красного слова. Я человек обыкновенный...

Эта просьба, в которой не было и тени кокетства, порадовала и успокоила меня. Скажу честно, боялась увидеть самонадеянного «вундеркинда» (у нас таких немало было и в Литинституте и на прошлом, VI совещании. Где они все? Ни слуху ни духу от этих говорунов не осталось).

На мои вопросы Снипс отвечает сдержанно. С ответами не спешит, как бы пробуя каждое слово «на зуб». Не для того, чтобы сказать по красивее, выглядеть поумнее, но из желания подыскать нужное, самое точное слово. И никакой позы или рисовки.

Полностью согласна с Бригиттой, женой Артура, социологом по профессии, что самое замечательное качество в человеке—это умение быть самим собой. Именно это она ценит в Артуре больше всего. Ей нравится в нем уравновешенность, умение и желание видеть в каждом человеке хорошее («То, чего мне самой порой не хватает»), серьезный подход к любому делу. Решения принимает медленно, но если принимает, то остается им верен, и переубедить в таких случаях Артура бывает почти невозможно.

— А его трудоспособности и вере в свои силы остается только завидовать.—И, как будто оправдываясь, что говорит о муже все только хорошее, добавляет:—Мы всего третий год живем вместе... Мне так повезло.

В этом «повезло» нет ни малейшего упования на исключительную творческую карьеру мужа. Есть, скорее, большое уважение к его увлечению литературой, желание поддержать его веру в

# СЕ ТСЯ...

Ираида ПОТЕХИНА,  
участница  
VI Всесоюзного совещания  
молодых писателей,  
Москва



«писательскую звезду». Ну и гордость, конечно, за целеустремленный характер близкого человека, который ярко проявляется и в отношении к жизни и сверхзадаче— овладеть пером.

...Пульт управления. На центральном щите, занимающем целую стену просторного зала, бесчисленное множество измерительных приборов, выключателей, цветных огоньков сигнализации. Человеку, не имеющему специального образования, не разобраться в их назначении. Пришлось подучиться и Артуру, ведь в Политехническом он закончил факультет «Автоматики и вычислительной техники».

Геннадий Гаврилов, у которого Снисп ходил в дублерах, совсем молодой человек, недавний выпускник того же «Политеха», отзываясь о своем товарище немногословно:

— Способный специалист, интересный человек... Да что о нем говорить, он из тех людей, у которых на лице написано— крепкий, основательный. А потому и разговаривать с ним хочется не только на производственные темы, но и о жизни вообще...

Помимо наблюдения за пультом, в обязанности дежурного инженера (как раньше называлась должность начальника смены) входит и контроль за агрегатами: генератором, турбиной, другим вспомогательным оборудованием, а также осуществление допуска бригады к работе и наблюдение за ее работой.

Сегодня выпал тяжелый день. Забарахлил компрессор. Пришлось повозиться всей смене во главе с инженером. Об этом лаконичная запись в «Оперативном журнале». Чтобы сделать эти записи, Артуру не нужны писательские навыки. Документ признает только факты, не допуская никакой фантазии авто-

ра. И все же, уверена, то, что за строчками «Оперативного журнала» — сложные производственные взаимоотношения, напряжение, готовность к самым рискованным решениям в ситуациях, не допускающих промедления,— это и есть «кирпичики» писательского опыта молодого прозаика Сниспа. Сумеет ли он выстроить здание— это зависит, безусловно, от того, что он сам видит за строчками оперативных сводок.

Задаю Артуру традиционный вопрос: нравится ли ему работа?

— Возможность познать себя в деле— разве это может не нравиться? Возможность познать людей разных профессий и характеров, связанных с тобою единством устремлений,— разве это может не нравиться. Ну, и небольшая, но важная частность— работаю через день: свободный отдаю литературным опытом. Как бы некий круговорот происходит: соприкоснулся с пульсирующей жизнью,— а гулкий пульс ГЭС и вправду ощущаешь физически— и с радостью остаешься наедине с бумагой, на которой предстоит воплотить впечатления.

Герои рассказов Артура Сниспа обычные, внешне ничем не примечательные люди— труженики самых разных возрастов и поколений.

Он пишет в традиции классической латышской реалистической новеллы, и увлекают его не внешне эффекты, а психологические исследования. И тут его главный помощник— внимательное, заинтересованное отношение к жизни.

Началась жизнь Артура далеко от родной Латвии— на Таймыре. Рос и воспитывался до девяти лет в Хатанге, у бабушки. До сих пор для Артура это самый дорогой и родной человек.

Привязанность взаимна. Красивый пуловер, связанный руками бабушки, почти бессменный наряд Артура на все случаи жизни. Заметив на нем невестку откуда взявшуюся капельку застывшего воска, тут же начинает отковыривать его, растапливать на батарее. Пока не извел вконец, не успокоился.

О годах, проведенных на Севере, вспоминает с улыбкой:

— Как и все дети, учился, пошаливал... Понимание же глубинной сути этого сурового края пришло уже в зрелые годы, с воспоминаниями. И они, знаете, греют, хотя край-то морозный...

Однажды, катаясь с горки на санях, сломал ногу. Приятель, катавшийся вместе с Артуром, испугался, увидев, что тот не может подняться на ноги,

убежал. Пообещал позвать кого-нибудь из взрослых. Но ждал помощи пострадавший напрасно. Струсил приятель, не сказал никому о случившемся.

Давно это было, но до сих пор помнит Артуру, как полз тогда к людям. Как обрадовался, когда увидел их, своих спасителей. И, может быть, слишком рано, но понял, что такое предательство и как важно, чтобы рядом были настоящие друзья.

Первый раз влюбился в десять лет. Вернее, даже не влюбился, а впервые заметил женскую красоту...

Поехали они с бабушкой к одной своей далекой родственнице, женщине лет тридцати. До того момента Артур ее ни разу не видел.

— Не помню, как она выглядела,— рассказывает он,— но зато врезалось в память, как я целый вечер не сводил с нее глаз, не в силах ни есть, ни пить. Надо признаться, мое восхищение длилось недолго, забылось как-то за другими мальчишескими заботами. А вот ощущение трепета душевного перед удивительной тайной человеческой красоты осталось навсегда.

Интересуюсь:

— Может, когда-нибудь это станет сюжетом для очередного рассказа?

Артур неопределенно пожимает плечами:

— Может быть... Но пока я не касаюсь темы любви вообще. Считаю ее в настоящее время непосильной для себя. Даже в дневнике мне не удается выразить это чувство. Чем больше хочу вложить искренности в слова, тем неестественнее и фальшивее получается.

Артур не отрицает, что это прекрасная и благодатная тема, но считает, что вполне удастся она может лишь в более зрелые годы, когда восторженность восприятия подослабит довлеющую свою силу, уступит, хотя бы немного, рассудительности.

— Но и тогда,— говорит он,— я буду писать лишь о самом чувстве или о любви мужчины, но не женщины. Эта прекрасная часть человечества для меня непостижима.

Не берусь утверждать, насколько верны соображения Артура насчет возраста, в котором писателю можно обращаться к теме любви. Остается лишь факт, что этот человек, Артур Снисп, обо всем желает иметь свое собственное мнение и имеет его. Часто оно идет вразрез с моим, и мы спорим. О том, например, есть ли место рассудительности в любви. Артур считает, что человек в этом может и сомневаться, но писателю ни в коем случае. Ведь он несет людям истину. Истину, выверенную чувством и рассудком.

В Союзе писателей СССР, в Москве, где хранятся рукописи молодых литераторов— участников VII Всесоюзного,— мне дали два переведенных на русский язык рассказа Сниспа: «Балкон» и «Пигмалион и Галатее».

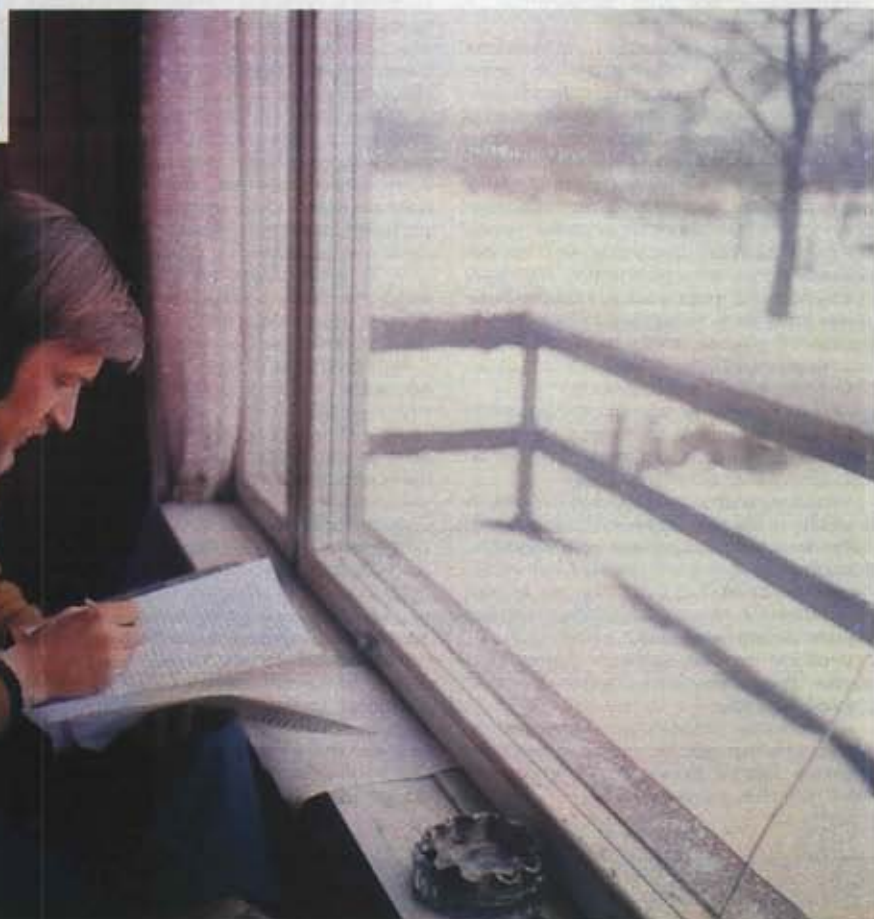
В первом рассказе Артур показывает читателю как бы два мира, которые уживаются в каждом из нас: мир мечтаний, когда человек стремится «...к синеве, к переливающейся золотом шире, к ликующему солнцу», и мир реалистический, в котором есть трудности и заботы.

Его герой вслед за своей маленькой дочкой пытается свободно шагать по воздуху, пытается одолеть «скользящую высоту». Потом писатель показывает того же человека, но уже уставшего бороться за свою мечту. Он идет с «маловыразительным лицом», с базарной сумкой в руках. Мужчина «падает», так и не научившись «ходить по воздуху». И вот финал: «Он не смотрел больше вдаль, не старался подняться вверх...», а «спокойно, размеренно шагал по земле... бормотал: «Денек-то ничего!... Солнце круглое, небо синее, трава зеленая. И река... тоже ничего, в реке живет рыба...»

Во втором рассказе Артур Снисп пытается разобраться в психологии женщины, поступки которой, как это часто бывает и в жизни, внешне кажутся лишенными всякой логики.

**РАБОЧИЙ ДЕНЬ. КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СМЕНА, АРТУР ОСТАВИТ ЛАКОНИЧНУЮ, ДЕЛОВУЮ ЗАПИСЬ В ОПЕРАТИВНОМ ЖУРНАЛЕ И ПОДПИШЕТСЯ: «НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ А. СНИСП».**

**ТОЖЕ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВТОРАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ СМЕНА, НА БУМАГЕ ОСТАНУТСЯ СТРОКИ НОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРОЗАИКА АРТУРА СНИСПА.**



Сюжет таков. Муж в порыве необо-  
снованной ревности дал жене пощечину.  
Жена в буквальном смысле окаменела и  
вновь ожила лишь тогда, когда на нее  
упала слеза мужа. Но, увидев, что тот  
плачет, ушла от него, хлопнув дверью:  
«Я думала, ты мужчина...»

Манеру письма Снипса, разумеется, с  
различными оговорками, сравнивают с  
манерой Рудольфа Блаумана, латыш-  
ского новеллиста. Проводят параллели  
и с творчеством других писателей, нахо-  
дят, что он преданно относится к клас-  
сике, самозабвенно учится у великих  
мастеров пера. Называют при этом Бу-  
нина, Платонова, но... остано-  
вились— мне такие перечисления всегда  
казались непомерным авансом.

— Главное,— говорит Петерис Зирни-  
тис,— что Артур Снипс своеобразен и  
обещает стать интересным писателем. У  
него свое, оригинальное видение мира, а  
что касается мастерства— приятно ви-  
деть его неустанную учебу, требова-  
тельность к себе.

Прошло всего три года, как он пришел  
к нам в студию, а сравнивая то, что он  
делает, с его первым рассказом, видишь  
колоссальную разницу...

«Студия молодых литераторов», о ко-  
торой упомянул Петерис, организована  
в Риге при Союзе писателей. В ней 52  
человека. Работают секции прозы, по-  
эзии, критики. Собираются студии  
два раза в месяц. Один раз для лекций,  
встреч с писателями. Один раз— твор-  
ческий отчет каждого члена студии.  
Рецензируют рукописи молодых про-  
фессиональных литераторов.

Шум, споры на этих заседаниях— дым  
коромыслом. Шумели студии и на  
обсуждении творчества Артура Снипса.  
Но сам Артур оставался невозмутимым.  
На нападки не реагировал, на похвалы  
не рассыпался в поспешных  
благодарностях. Все внимательно вы-  
слушал, что-то записал.

Через несколько дней пришел в Союз  
и все так же спокойно изложил свои  
соображения по поводу замечаний к его  
работе: с чем согласен, с чем не может  
согласиться.

Артура уважают за то, что он не  
торопится издаваться, не суетится, не  
«пробивает» себя. Его книга могла бы  
и пораньше выйти, поскольку местное из-  
дательство испытывает определенный  
«голод» на прозу, но Артур не отдавал  
рукопись до тех пор, пока сам считал ее  
«сырой».

Петерис Зирнитис рассказал мне и о  
других студийцах, назвал особо одарен-  
ных из них, тех, кто стал участником  
совещания в Москве. Это Виктор Авот-  
тыньш и Мара Залите— очень способ-  
ные поэты, Янис Юркан— драматург.  
Сейчас в профессиональных театрах  
Латвии идут две его пьесы.

Я спросила и о судьбе участников  
прошлого, VI совещания. С радостью  
узнала, что многие из них, как и я, стали  
членами Союза писателей. Что у Айвара  
Клявиста, прозаика, ждет выхода в свет  
уже вторая книга, а у Андриса Пуриньша  
на следующий год выйдет роман в  
Москве.

Во время разговора с Петерисом мой  
взгляд случайно упал на деревянную  
фигуру, стоявшую на шкафу. Вокруг нее  
на металлическом обруче-подвеске  
— медные бляшки с фамилиями.

Перехватив мой взгляд, Петерис  
пояснил:

— Это переходящий приз «За лучший  
дебют». Его обладатель сейчас болен и  
не может забрать свою награду.

Вот уже десять лет ежегодно, в послед-  
нюю пятницу декабря, вручается  
этот приз «победителям». Есть  
среди фамилий, выбитых на бляшках,  
и фамилия Ренде— псевдоним, под  
которым публиковался сначала Артур  
Снипс.

Улочки старой Риги. Древняя брусчат-  
ка под ногами. Дома с маленькими,  
уютными двориками стоят, тесно прижи-  
маясь друг к другу. Многие— с дымами  
над островерхими крышами.

Церковь Петра с оборудованной на

ней смотровой площадкой, отсюда вся  
Рига как на ладони, рижский замок,  
великолепный Домский собор... Какие  
бурные столетия пережили вы!

Показывая мне старый город, Артур  
разговорился, взгляд его стал мягче,  
утратив настороженность, и, к моей  
великой радости, «пустое вы, сердеч-  
ным ты» мы наконец-то заменили. Лишь  
одно оставалось неизменным— неглас-  
ный запрет... доставать блокнот. Уви-  
дев его, Артур тускнел лицом и терял  
интерес к начатому разговору. Поняв  
это, я, как могла, крепилась до послед-  
него, ничего не записывала и лишь  
тогда, когда чувствовала, что память не  
в состоянии больше удерживать накоп-  
ленное, под самыми различными пред-  
логами покидала ненадолго Артура или  
делала вид, что записываю в блокнот  
«только что пришедшие на ум» стихо-  
творные строчки.

Артур ворчал:

— Все равно не надо в блокнот запи-  
сывать. Надо на салфетках, на спичеч-  
ных коробках, на автобусных билетиках...  
Что под руку попадет в этот  
момент, на том и писать. Чтобы строки  
напоминали о ситуации, в которой они  
возникли. Тогда мысль, вложенная в  
них, будет иметь продолжение. В блок-  
ноте они мертвые.

Я не спорю, но остаюсь при своем  
убеждении: на чем, равно как и о чем,  
где и каким образом писать— это  
дело индивидуальное.

Как становятся писателями? Что за  
силы заставляют человека, не зная  
покоя ни днем, ни ночью, не имея порой  
ни моральных, ни материальных выгод  
для себя, писать? Отчего вдруг у чело-  
века появляется «зуд сочинительства»?  
И как это происходит впервые?

Поспрашивая писателей. Сколько  
разных, смешных и грустных, поучитель-  
ных и увлекательных историй вы услы-  
шите...

Я знаю одного поэта, который утвер-  
ждал, что свое первое стихотворение он  
написал в таком раннем возрасте, что  
даже не умел еще как следует говорить.  
Он лепетал стихи, а мама записывала. И  
до сих пор лепечет.

Но большинство пишущих относят на-  
чало своей литературной деятельности  
к более позднему периоду своей жизни,  
к той непонятной и волшебной поро-  
е, когда девочки и мальчики начинают  
понимать, что привлечь к себе внимание  
можно и не стучая портфелем по голове  
своего избранника (избранницу). Запи-  
сочки, взгляды в чью-то спину на уроках  
и стихи... Конечно же, стихи, где рифму-  
ются «любовь» и «кровь», «слезы» и  
«морозы», и все это, разумеется, в  
ущерб знаниям.

Но это время проходит, и человек  
начинает вдруг понимать, что пора  
браться за ум. Число стихотворцев резко  
сокращается, продолжают занимать-  
ся сочинительством лишь самые упор-  
ные, порой они даже кажутся самоуве-  
ренными. А скажите, легко ли сделать  
первый шаг к творчеству без самоуве-  
ренности— уверенности в своих силах  
на трудном пути? Думается, нет. Неуве-  
ренный сразу же споткнется. Но силы  
должны быть реальными, подкреплен-  
ными знаниями. И потому прежде— на-  
копление знаний, тогда будет надежда  
на творческое озарение.

О себе Артур рассказывает:

— После школы я вдруг очень остро  
осознал, что слаб в науках. Занялся  
самообразованием. Поступил в инсти-  
тут. Стал много читать.

Читал в то время Артур все подряд. А  
в 1973 году, во время работы над  
дипломом (неподходящее, надо сказать,  
время), написал свой первый рассказ...  
Почему? Зачем? До сих пор не может  
найти ответа. Может, от любви к чтению  
родилось это желание?

В своем первом рассказе он писал о  
своих современниках, опозитивировал  
дорогу, дружбу.

— Рассказ слабенький,— признается  
Артур,— нечто вроде плохо перераба-  
танного Джека Лондона, но тогда он  
меня вполне удовлетворял.

Подписался— «Артур Ренде»— и от-  
правил рассказ в комсомольский жур-  
нал «Лиесма» («Пламя»). Долго ждал  
ответа. Не дождался и забыл о своем  
«детстве». Но однажды, как гром среди  
ясного неба, письмо из редакции: «Про-  
сим получить причитающийся Вам гоно-  
рар...» И уж совсем невероятное сооб-  
щение: он, Артур Снипс,— победитель  
конкурса рассказов на молодежную те-  
му, проводимого ЦК ЛКСМ Латвии совме-  
стно с редакцией юношеской литера-  
туры книжного издательства.

Да, не каждый может похвастаться  
таким началом. И ничего удивительного,  
что закрылась у парня голова.

— И стал я,— смеется Артур,— пи-  
сать усердно и много, и... все очень  
низкого качества (последнего я, разуме-  
ется, не сознавал). Моей рукой водило  
лишь одно страстное, но бездумное  
желание— опубликоваться.

Это «умопомрачение» длилось около  
полугода. Писал, бегал по редакциям,  
но, увы, у Артура ничего не принимали.

Это обстоятельство заставило приза-  
думаться незадачливому «победителю».  
Он пишет еще один рассказ и идет с ним  
уже не в редакцию, а к литконсультанту  
в Союз писателей.

Прочитав сочинение молодого автора,  
авторитетный писатель пустился в по-  
хвалы, и Артур снова потерял под собой  
землю.

Рассказ взялся опубликовать один из  
журналов, но по каким-то причинам его  
так и не напечатали. У Артура опустил-  
ись руки. И он решил постави-  
ть крест на своей «писательской  
карьере». К письменному столу не под-  
ходил.

К тому времени он уже закончил  
институт. Год после распределения про-  
работал в радиобсерватории при АН  
Латвии, затем инженером на лесопиль-  
ной станции, был грузчиком. Потом  
вернулся в Ригу, поступил на работу в Театр  
русской драмы рабочим сцены и опять  
начал писать. Может показаться, что  
жизнь его в этот период была не управ-  
ляемой им самим— слишком много пе-  
реездов, перемен мест работы. Артур  
же считает, что «тяжелел», набирал  
биографию. И, возвратившись в Ригу,  
писать стал иначе, вернее— с иным  
чувством. С чувством уверенности в  
своем выборе.

Артур Снипс находится сейчас в пре-  
красной поре ученичества. Он много чи-  
тает, особенно русских, советских пи-  
сателей. Восхищается Гоголем, Буниным,  
Платоновым, Зощенко. Его интересы  
разнообразны: философия, психология,  
новейшие научные открытия, тайны  
русской иконописи. Сочинения Бетховена  
считает «музыкой для творчества». В  
его доме много пластинок, способствую-  
щих этому процессу: Гайдн, Моцарт,  
Гендель...

И все, чем он интересуется, имеет  
главную цель— разобраться в себе,  
в окружающей жизни, в человеке вообще.  
Артур Снипс считает, что теперь он уже  
постиг основное— нельзя «описывать  
явление снаружи; нужно уметь загля-  
нуть в глубь его».

— Я знаю, о чем писать, теперь мне  
надо определить, как это делать, этот  
вопрос пока открытый для меня. Преж-  
ний уровень уже не устраивает...

На прощание я спросила Артура, что  
он ждет от совещания. Выяснилось,  
что прежде всего встречи с Мос-  
квой— Снипс раньше не был в ней. Ну, а  
возможность увидеть сразу всех пишущих  
сверстников он считает просто-таки  
уникальной.

Артур очень хочет встретиться с Тен-  
дряковым, задать вопросы по «Затме-  
нию». Вообще он с волнением говорит о  
будущих встречах с писателями, о семи-  
нарах. Ведь они станут экзаменом его  
творчеству. И Артур признается, что ему  
будет стыдно, если занятые люди зря  
потратят на него время. Поэтому Снипс  
жаждет заинтересованной критики в  
адрес своих произведений, считая, что  
таковой она непременно окажется, если  
его художническое видение современ-  
ности признают заинтересованным.

# Учитель, воспитавай ученика!

«Их судьба  
никогда не будет для меня  
безразличной»

IV Всесоюзное совещание состоялось 5—10  
мая 1983 года в только что выстроенной  
гостинице «Юность». Оно отличалось еще  
более полным сотрудничеством мастеров и  
учеников, высоким осознанием мастерами  
своего долга и ответственности за молодую  
литературную поросль.

«Эти дни надолго останутся в моей памяти,  
я судьбу молодых прознаю, с которыми и  
работал, никогда уже не будет для меня  
безразличной» — писал Георгий Марков в  
статье «Радость знакомства», опубликован-  
ной в «Литературной газете». В ней он рас-  
сказал о своих питомцах, каждый из которых  
прошел большую школу жизни, накопил немалый  
профессиональный стаж и писательский  
опыт.

«Их судьба никогда для меня не будет  
безразличной» — эти слова Г. Маркова могли  
бы с полным правом прозвучать и другие  
писатели старшего поколения, ставшие руко-  
водителями семинаров: И Михаил Исаков-  
ский, работавший с поэтами из Белоруссии, и  
Николай Тихонов, как всегда руководивший  
магистерской группой и направлявший в  
«доброй путь» Ольга Сулейменова, Майко  
Гуленкаду, Владимира Санги и многих других.

На совещании присутствовало 170 чело-  
век— представители различных профессий и  
национальностей. И каждый из них был в поле  
зрения и постоянного внимания у каждого  
был свой опытный и заинтересованный на-  
ставник.

С участниками совещания встретился  
Евгений Галаган — такой же молодой, как и они,  
первый человек мира, проложивший дорогу в  
космос.

## Восхождение

Это было как восхождение по высокой  
лестнице, с каждой ступенью становившейся  
все более крутой. Открытием V Всесоюзного  
совещание молодых (март 1989 года) Вадим  
Кожельников отметил из 250 поэтов и прозаи-  
ков, пишущих на 40 языках, 171 имеет  
высшее и 38 незаконченное высшее образование.  
Высший образовательный ценз отметили  
и Константин Фоменко.

Руководителями семинаров были Чингиз  
Айтматов, Георгий Марков, Кайсын Кулиев,  
Борис Ручьев, Николай Случинский и многие  
другие опытные литераторы.

— Есть оправданная закономерность в  
том, что каждая новое совещание выводит на  
литературную орбиту новые и новые писа-  
тельские имена! — сказала Любовь Зайцева.

На совещании был Владислав Титов. К тому  
времени его книгу «Возмездие» опублико-  
вали в ряде социалистических стран Евро-  
пы, а также в Японии. Пьеса, написанная по  
мотивам повести, ставилась во многих теат-  
рах страны.

А вот другие имя— Саман Курилов. На  
совещании обсуждали его роман «Жанцо и  
Халхора» — это роман о калхарах.

— Можно смело сказать, что молодая ли-  
тература создала своеобразную эпопею жизни  
своего народа. — сказал о нем руководитель  
семинаров Георгий Марков.

Группа участников совещания посетила Ми-  
ланку Александровну Шопанову. Среди тех,  
кто участвовал во встрече, была таджикская  
поэтесса Г. Сафарова, ныне она живет в пре-  
миере Ленинского комсомола. Можно назвать и  
много других художников слова, пользую-  
щихся теперь широкой известностью.

Была еще молодая становившаяся писатель-  
ницами и сами, в свою очередь, работают  
руководителями семинаров, к их словам с  
трепетом прислушиваются осваивающие напе-  
нование.

Полностью оправдываются слова Петра  
Павленко: «Учитель, воспитавший ученика,  
его прозякается, всегда был и будет достой-  
ной свободой уважаемым фигурой».

Вот почему на V совещании молодые писа-  
тели с таким глубоким вниманием прислуши-  
вались к каждому слову ветеранов литерату-  
ры.



# СМИРЕННИЦА МОЯ

Вячеслав ШУГАЕВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОЗЕ

**В**идел, как пишут товарищи: Распутин, тонко-тонко заточив карандаш, на длинных, узких полосках бумаги ставит такие маленькие, едва различимые буквы, что опору их разглядывать через увеличительное стекло; Вампилов был более разговист, заносил диалоги шариковой ручкой на стандартные листы, несколько небрежным, но довольно хорошо разбираемым почерком — диалоги вообще окружены на странице большим воздухом, нежели строчки прозы, и поэтому, видимо, резче выделяются, легче читаются; Машкин заполняет страницы аккуратным, этаким школьно-старательным почерком, будто пишет классное сочинение, под рукой всегда держит ластик, сомнительное слово сразу же стирает и аккуратно вписывает, на его взгляд, более удачное.

Читал, как писали великие и малые предшественники: кто в специально сшитом балахоне и гусиным пером, кто — ночью, при зажженных свечах и при скрипе сверчка за печью, кто, опустив ноги в таз с теплой водой и поглядывая на синеву реки за окном.

Запоминал, как пишут современники, встречаясь с их профессиональными открытиями в литературных изданиях под рубриками «Как мы пишем» или «В творческой лаборатории» — рубрику эту можно, кстати, время от времени разнообразить. Например, «В творческой кузнице», «На творческой мельнице» или «В творческом кессоне, забое...», «В творческой шахте», наконец. Секреты мастерства сводились, как правило, к рассказам о поисках и обретении сюжетов, о трансформации реальной судьбы в судьбу литературную, о замысле произведения и тех превращениях, которые подстерегают его (замысел) при писании — то есть речь шла о предметах хотя и поучительных и интересных, но все же не приоткрывающих главную тайну: как же появляется проза, эта словесная плоть, никогда не бывшая, не выданная, пока не появился этот или другой сочинитель?

Все вышеперечисленные способы, примеры писательской работы — это только видимые, внешние покровы ремесла, а суть его: как появляется слово, как возникают на странице слова именно в этом порядке, а не в другом, как они, наконец, построчно соединяются в «Даму с собачкой» или в «Жизнь Арсеньева» — остается по-прежнему таинственной и неизреченной, хотя столько уже написано о «тайнах» стиха и прозы. Кажется, все просто: налей в таз теплой воды, выпусть из спичечного коробка сверчка за книжный шкаф, если нет печки, возьми тонко оцинченный карандаш и пиши. Ан не пишется. Не преодолевается некая преграда к тому, еще неизвестному тебе, но единственному строю слов, который будет сопротивляться, ускользать, вообще как бы отсутствовать — отчаешься сочинитель, начнешь с первых полавшихся, потихоньку втянешь в обман и ничего путного не сделает или плюнет на все, уверит себя, что и нет никакого строя, и — тоже ничего не сделает.

Найти без мук достигаемую лазейку, щель, пыломанную доску в этой преграде, конечно же, пламенная мечта каждого сочинителя. Вот почему его так живо занимают все эти легенды о гусиных перьях, сверчках, тазах с теплой водой — все ему кажется, что существует, не может не существовать безоблачный способ прорыва к единственно нужным словам. Зажугу свечки, думает он, и вдруг запишется,

перо само пойдет и не будет этого ежедневного страха: неужели и нынче слова не смысловятся и не покажутся, и будешь сидеть в дурацкой, постыдной пустоте?

Действительно, как разгадать, понять и высказать эту тайну преодоления?

Должно быть, живет стихия, существует течение прозы не в виде отдельных источников, как фольклор, диалекты, устная речь современников, из которых литератор на манер пчелы берет «строительный» материал для сочинения, а этаким цельным потоком, наподобие глубоко спрятанной подземной реки, и кому-то дано напиться из нее лишь ладоною, а кому-то, зачерпнув полным ковшом, — все зависит от силы дара, заведомо сознающего прозу как цельную стремнину, как своенравное живое существо, а не собранную из разных источников некую языково-словесную данность. Попутно замечу, что, видимо, существует подобный же, независимый от нас и поток поэзии, но, так сказать, с иным молекулярным строением и несколько иными подходами к нему.

Как же добраться до этого подземного потока? За какой зацепиться валун, за какую расщелину, чтобы свеситься над ним и зачерпнуть из него хотя бы ладоною? Его влаги, его поющей, звонкой словесной слитности? Как обуздать, усмирить это своенравное существо, пусть даже избив, избивая в крошечные ладони, локти, голову? Вряд ли ответишь, вряд ли объяснишь — расказать можно только о мучительности поисков ответа, но это никому не интересно.

Вот так, размышляя однажды о прозе, как о живом существе, ведущем где-то рядом соблазнительно недоступную, заманчиво недостижимую жизнь, поглядывая на сырой лист бумаги на столе, читал я Пушкина и вычитал, что стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» было опубликовано после смерти поэта. А написал его Пушкин в январе 1831 года, когда готовил к изданию «Повести Белкина» и, видимо, много размышлял о природе прозы, о родственном характере ее с поэзией, о проявлении этого характера на бумаге и о тех неожиданных, причудливых странностях, отличающих его от течения поэтического потока.

Пусть не морщится пушкинисты, но почему бы не предположить, что Александру Сергеевичу привиделась в один зимний день проза в облике тихого, неизъяснимо волнующего своей живой прелестью существа, и он, сочиняя стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...», безотчетно вложил в эти волшебные-откровенные, восторженно-чувственные строки и ощущение от противоборства в душе своей двух художественных стихий, которые должны провалиться на бумаге, закрепиться на ней, в сущности, с той же чувственной страстью и силой, что и в любви.

Стенания, крики вакханки молодой, порывы пыльных ласк — это, конечно, радость обладания, физически всемогущей власти над поэтической строкой, полная, безоглядная, уже несколько утомительная близость с поэзией, с ее горячими, прекрасными, но уже привычными прелестями.

Но вот возникла за темным, сумеречным окном проза, потупившаяся, мучительно милая и недоступная.

«О, как милее ты, смиренница моя!»

Надо умолить ее свизойти, не спугнуть неловким или чересчур пылким движением, надо показать ей всю свою влюбленную кротость, всю свою без-

ропотность и рабскую готовность удовлетвориться самым малым знаком внимания — только свизойди!

«...восторгу моему едва ответуешь...» Да, летит в воображении, совершаются прекрасные рассказы, романы, десятки мгновенно увиденных и вроде бы схваченных и покорившихся судеб — а на листе только жалкие строчки, которым не угнаться за этими видениями, полными жизни, страсти и такой космической неподалости. Счастливая опустошенность при завершенных страницах и та покровительственно-усталая благодарность, не без доли ласкового физического самодовольства: «И делишь наконец мой пламень поневоле!»

...И опять все сначала. Жадное любопытство к прихотям коллег, к сверчкам, гусиным перьям, остро оцененным карандашам, к иным жалким попыткам обмануть сопротивление слова — вплоть до смешного восклицания одного литератора: «Мне бы Ясную Поляну, там бы и я написал — огого как!»

Увы, и в Ясной Поляне надо сидеть перед чистым листом и долго молить, чтобы проза склонилась к вам. И питать робкую надежду, что и на этот раз ваш пламень будет разделен.

## БУДНИЧНЫЙ ПОЧЕВ

Когда, к примеру, говорят: «У каждого свой Пушкин» или «свой Некрасов» — подразумевают прежде всего читательскую избирательность, круг любимых и многократно прочувствованных читателем стихотворений этих поэтов, возникшее убеждение, что вот эти строки Пушкин писал для него, имея в виду именно его порывы ума и сердца. В понятие «у каждого свой поэт», видимо, вовлекаются и некоторые страницы его жизни, вызывающие у читателя опять-таки чувство личной близости к этим, как бы родственно выпирающим из биографии поступкам поэта. Так или иначе, «присвоение» поэта, превращение его в спутника жизни случается после долгих часов чтения, постепенно накапливающихся в нас чувство неповторимой, только нам доступной упоенности тем или иным поэтическим даром.

Помимо подобного выбора «своего поэта», бывают встречи с ним будничные, вроде бы случайные, но тем не менее оставляющие след в наших душах. То в ненароком услышанном разговоре, то в истории находки его книги, рукописи, портрета, то в каком-то житейском событии, дополнительно осветившем наши взаимоотношения с поэтом.

О будничных встречах с Тютчевым я и попытаюсь рассказать.

ОДНОЙ осенью я жил в зимовье на Нижней Тунгуске. Иней уже держался до полудня, желтая трава потом долго и влажно блестя, тропы в тайге проминались упруго и бесшумно, и тянуло по ним хвойным холодком. Ходил до вечера по береговому распадкам, раздвигаясь и углубившись от позднесентябрьской прозрачной тишины. Хозяин зимовья, старик Фарков, домовничал — сего его стояли прямо под окнами в темной, холодной, как бы просевшей воде. Он встречал меня, похаживая перед зимовьем между вешал, каких-то кольев, жердей, тальниковых загоронок, осушенными, без шапки, с зажатыми под мышками ладоными — донимал его, на месте не давал поспеть приступ ревматизма, никогда, кстати, им не леченного.

— Опять маешься, Иван Романыч?

— Дьяволу бы его. Уж так ломит, так сводит — деться куда, не знаю.

— Зачем же в воду-то лезешь? Отрыбачил, значит. Что ж упрямиться?

— Да ведь без рыбы на зиму останусь. Непривычно... Ничего. Малость побегою — отпустит. Пальцы уже вроде гнутся.

Топили печку в зимовье, но в тесноте его, пахущей керосином, не сиделось, и мы разводили еще костер — посумерничать возле на старом листовичном бревне, дожидаться, пока не истлеет зеленовато-синий с розовыми подпалинами заря. Покуривали, вяло переговаривались, кто что видел за день, кто вверх по реке прошел, кто вниз. Собаки улеглись вокруг костра, тянули к ним морды — красновато поблескивали глаза и рыбы чешуйки, застрявшие в шерсти. Над ельником проступил, поярched дрожащий, узенький серпик, и слабо, тускло засветились поляны, речные обрывы — иней отсыпался на новый месяц. Иван Романыч поднялся.

— Что, на боковую? Или малость послушаем? — кивнул на свисавший с жердины транзистор. Батарейки почти сели, и мы включали его на две-три минуты — так, убедиться, на всякий случай, что не только на Тунгуске есть живые души.

— Давай.

Густой, рокошущий усталыми нотками бас неторопливо читал:

*Когда на то нет Божьего согласия,  
Как ни страдая она, любя,  
Душа, увы, не выстрадает счастья,  
Но может выстрадать себя...*

Заворочались, заворчали собаки, услышав чужой голос. Иван Романыч шепотом цыкнул: «Тише вы, дьяволы!» — слова стихотворения, казалось, не рассеивались, не пропадали в воздухе, а текли вместе с искрами, дымом к реке, их можно было догнать. И в самом деле, стучались они в облачки некой словесной плотности:

*Душа, душа, которая всецело  
Одной заветной отдадалась любви  
И ей одной дышала и болела,  
Господь тебя благослови!*

Облачки эти медленно опустились на иней и легко соединились с ним — чуть вспылела серебром поляна на обрыве. Видно, упала ветка в эту минуту, а может быть, и ее задела, проплывая, слова, потому что они были в удивительном согласии с этой просторной, холодно-печальной, чуть засеребрившейся от нового месяца ночью.

Батарейки враз обессилели, и бас свик, договорил еле слышно:

*Он милосердный, всемогущий,  
Он, греющий своим лучом  
И пышный цвет,*

*на воздухе цветущий,  
И чистый перл на дне морском.*

Иван Романыч выключил приемник. — Управы нет на наше сельцо. Просто беда с этими батарейками. Просишь, просишь — как в воду все.

ДРУГОЙ осенью, тоже в сентябре, собрались в Чите молодые литераторы Сибири и Дальнего Востока поговорить о работах друг друга, а более всего — душоно сблизиться, найтись и уже не теряться в этом безбрежном и суровом просторе, именуемом литературным процессом. Нас тогда учили, как надо писать, все, кому не лень, а как надо жить, как, говоря старинным слогом, душу возвышать и укреплять — никто. И мы надеялись в общении друг с другом хоть несколько прикоснуться к этой науке: власть повигать в классических высях, всей артелью осудить и отринуть все мешающее писать искренне и реалистично, помечтать с юношеской запальчивостью о том, чтобы никогда не превра-

щать сочинительство в средство для проформа и т. д. Отчасти и витали, и мечтали, и отрицали—золотая была осень.

Среди ее забот выпал один вечер, когда и «семинаристы» и руководители наши сошлись как-то сами по себе в гостиничной прихожей, расселись там тихо и устало, видимо, не могли еще переписать дневную тягу к людности и разговорам. Молчать вскоре надоело, и кто-то предложил прочитать по кругу по одному любимому стихотворению. Я прочитал «Душа моя—Элизум теней».

Ко мне подсел литератор С. И., руководитель семинара, и с неожиданной поощрительно-ласковой улыбкой сказал:

— Смотри-ка, Тютчева знаешь. Хоро-шо.

Я растерялся:  
— А почему я не должен его знать?  
— Ну...—С. И. чуть потянул шеей, поправил ее в тесном воротничке.—Как-то не в почете он у нас. Не на виду. Мало знают, мало читают.

Не придав по тогдашнему какому-то бурсацкому легкомыслию значения словам С. И., я вспомнил их через несколько лет, когда услышал, как дочь громко, «с выражением», затверживает: «Люблю грозу в начале мая...».

Проверяя ее с хрестоматией в руках, вдруг изумился: в книге не хватало последнего четверостишия:

*Ты скажешь: ветреная Геба,  
Кормя Зевесова орла,  
Громокопчий кубок с неба,  
Смелась, на землю пролила.*

Должно быть, составители хрестоматии посчитали его «темным», недо-ступным уму школьников, так сказа-ть, перегруженным мифологически-ми фигурами, во всяком случае, у составителей этих Тютчев был явно «не в почете и не на виду». А сколько, помню, мне в детстве счастливы таин-ственных минут принесли и эта «вет-реная Геба» и этот «Зевесов орел», пока разузнал, расспросил про них, и потом уже, со знанием, все себе живо представил.

В «Литературных памятниках» двухтомничек Тютчева появился в 1965 году, но и Вампилов и я обзаве-лись им позже, но в один день, на книжном складе. Мы жили по сосед-ству на улице Дальневосточной в Ир-кутске и потому могли совместно радо-ваться обнюхиванию, несколько дней не выпускали томиков из рук.

— Слушай, а ты обратил внимание на это: «Святая ночь на небосклон взойшла, и день отрадней, день любез-ней...»

— Правильно. Хорошо. Но это что! Вот теперь ты послушай:

*Как дымный стол  
светлеет в вышине!  
Как тень внизу скользит  
неуловимо!*

В те дни мы даже ввели в товарище-ской обиход аббревиатуру «ТТК», ког-да хотели что-то особенно похвалить и выделить. Буквы эти в обилии нанесены рукой Толстого на поля тютчевской книги в Ясной Поляне и значат: «Тют-чев! Глубина! Красота!»—иногда со значительно большим количеством восклицательных знаков.

...Из окна вампиловской комнаты видна была Ангара, несущаяся тяжело и быстро. Саня, читая, поднял указа-тельный палец, как бы предупреждая: вот сейчас, сейчас наступят главные строки:

*Вот наша жизнь,—  
промолвила ты мне,—  
Не светлый дым,  
блестящий при луне,  
А эта тень, бегущая от дыма...*

Многие годы связывают меня—си-лой сердечной приязни—с поэтами С. Куныевым, В. Соколовым, А. Перед-ресвым, А. Жигулиным, И. Шклярев-ским. В сущности, если хорошенько

припомнить, давно уже у меня нет дня, которому бы так или иначе не сопут-ствовали их строки. Ходишь, работа-ешь, едешь ли куда-нибудь, а строки вроде бы сами по себе всплывают, бормочутся, произносятся—этот сма-куешь и смакуешь с полным душев-ным удовольствием.

Однажды в лесу под Иркутском, на глухой тропе, где особенно вольно

Не давал покоя критической бес-Подуживал, подталкивал, подсказы-вал: «Куныева ты назови певцом про-странства, нет, не певцом—поэтом пространства. А то певец уже один был. Во стане русских воинов. Точно, точно: поэт пространства. Неплохо. А может быть, простора? Ведь у него же сказано: «Надо было понять эту даль, эту тайную силу простора...» Соколов,

ся в запасе этих прозрачных, стреми-тельных дней?» У Шкляревского от-метить неутолимость. Неутолима его жажда любви, жизни, ненависти. Да, да. «Как ненастынен человек! Придет любовь, нагрянет слава, блеснет под солнцем первый снег, а сердцу жадно-му все мало...»

Я отмахивался от этой схоластики, отнекивался, возмущался, а бес под-мигивал и не отставал. Тогда я при-нялся читать Тютчева.

*У Музы есть различные  
пристрастья,  
Дары ее даются не равно;  
Стократ она  
божественнее счастья,  
Но своенравна, как оно.*

*Давайте ж, князь, подыдем в честь  
богине  
Ваши полный, пенистый фиал!*  
Наконец-то бес отступил. Не надо писать статью. Надо подвигать в честь музыки моих поэтов полный, пенистый фиал. С добавлением просторечного «спасибо».

Были и две замечательные встречи с книгами Тютчева. На иркутском рын-ке, возле мешочников, небритых, про-копченных дядей, торгующих кедров-ными орехами, стоял потертый, жал-кий человек, со следами старинного утреннего недуга на лице. В руках у него была книга, обернутая в газету, и он то протягивал ее прохожим с сил-лой скороговоркой: «В нагрузку не желаете взять?»—то, засунув под мышку, ронял голову и с мрачною пристальностью подолгу рассматри-вал пол...

Я открыл ее—это было приложение к журналу «Нива» за 1913 год, полное собрание сочинений Тютчева под редакцией П. В. Быкова с критико-биографическим очерком В. Я. Брюсова.

— И сколько вам за него?  
Человек поднял прозрачно-желтые, невдорово блестящие глаза.

— Вообще бы никогда не отдал. Да вот дожид. —Он потянул книгу из рук, но тут же резко оттолкнул.—Берите, если берете. Мне здоровье попра-вить—больше не надо.

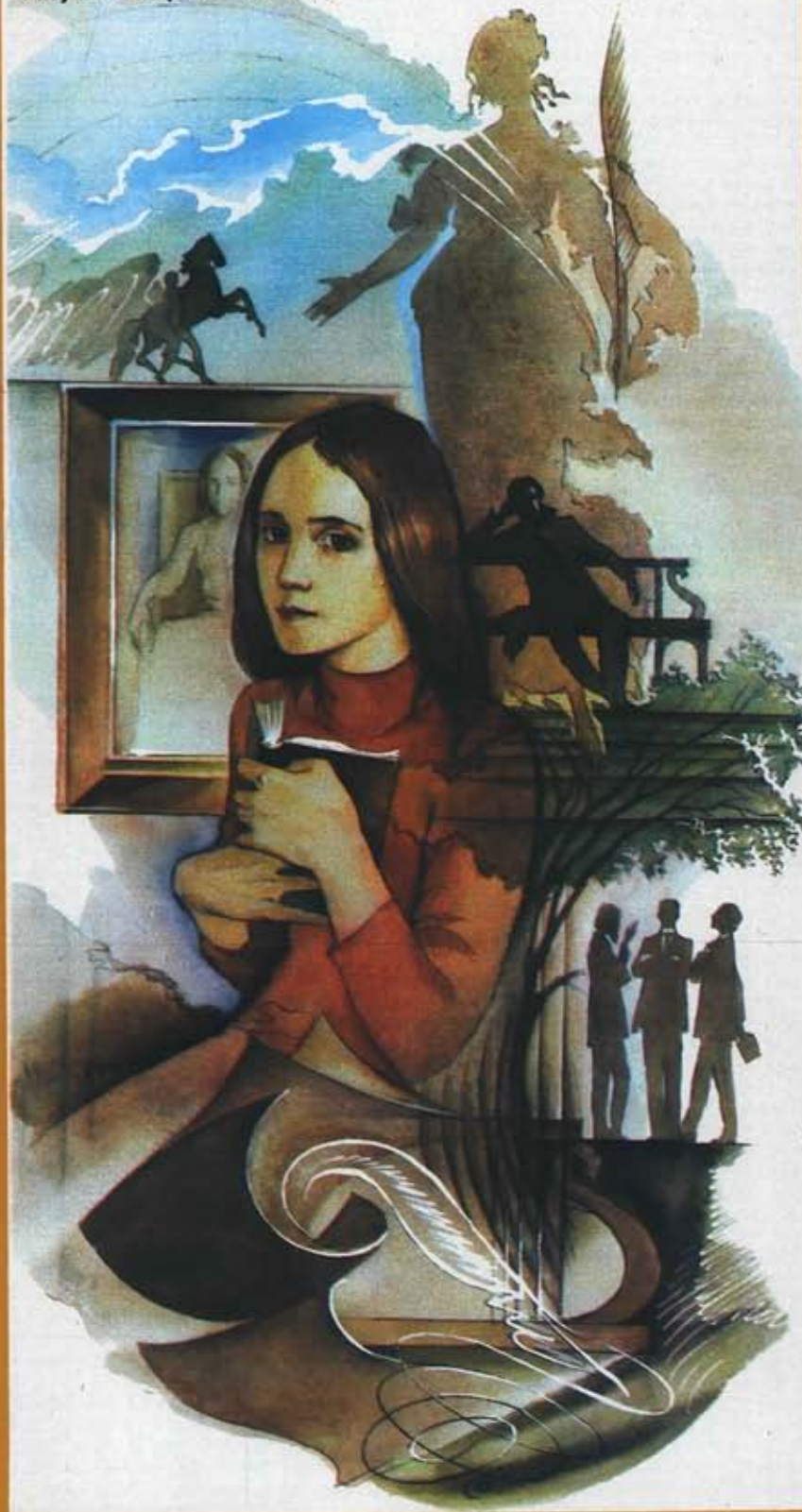
Возвращался я с базара, в самом деле неся под мышкой «не милорда глупого», а Федора Ивановича Тютчева.

Нынешней весной в городе Соколе, Вологодской области, на книжном лот-ке купил книгу Тютчева, изданную «Советской Россией» в 1976 году в серии «Поэтическая Россия». Составил книгу В. В. Кожин. В поезде, бегло заглянув в комментарии, я уже не мог оторваться от них—столько в них было (обычно с сухой бесстрашно-стью оповещающих, когда и где было написано и напечатано стихотворение и какими событиями навелно) личной, что ли, любви составителя к Тютчеву, живого интереса к его жизни, исследо-вательской страсти, горячего непри-ятия некоторых толкователей Тютче-ва—и все это уживалось, чудесно со-седествовало с педантичной, научной строгостью собственно комментариев. И вступительная статья переклика-лась с ними своею живою и истною влюбленностью в Тютчева.

Вот это тщание составителя, пыл его, позволившие сказать, злобо-дневной любви к поэту передались и мне, читателю, и я долго сидел у ночного окна, бережно перелистывая как бы впервые держа в руках стихот-ворения Тютчева. И отмечал все но-вые и новые свидетельства неутоми-мой и завидной пристальности соста-вителя: вот он восстановил, если мож-но так выразиться, орфографическую волю поэта, вот объединил стихотво-рения, посвященные Е. А. Денисьевой, в один, усиливающий их произитель-ность цикл...

И как бы заново я читал:  
*Чему бы жизнь нас ни учила,  
Но сердце верит в чудеса:*

Рисунки Валерия СМЕРНОВА



«бормочется и произносится», я с вне-запной и острой благодарностью подумал об этих идущих рядом, таких привязчиво-надежных строках. И о поэтах, конечно, подумал. И тогда же подумал, что напишу статью о них, да не рецензионно-критическую, а благо-дарственно товарищескую: что, мол, на собственном опыте убедился в жизненной необходимости ваших строк, что они действительно и утеша-ют, и ободряют, и врачуют и т. д. Придумал даже заголовок к статье: «В честь музыки вашей»—разумеется, не без помощи Тютчева, и смутился.

конечно, последний рышарь... Из тех, кто сохранил старинное благородство к женщине. Да, да, последний рышарь. «Я грущу о зажиме чрезвычайной тоски, как при старом режиме вашей белой руки...» Так... Передрев... Ну, тот слова как на камне выбивает... Чеканит... Печальная медлительность, может? Вон ведь как он говорит: «Не помню ни счастья, ни горя. Всю жизнь забываю свою...» У Жигулина какая-то прощальная прозрачность. Скорее всего, поэт осени. А? «Что-то печаль-ное есть в этом часе. Сосны вдали зеленой и видней. Сколько еще остае-

Есть нескудеющая сила,  
Есть и нетленная краса.

## ПОД СЕНЬЮ ТЕМНЫХ АЛЛЕЙ

В бунинском рассказе «Генрих», может быть, самом «темноаллейном», поэт, любитель путешествий Глебов говорит спутнице в ночном вагоне: «Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».

Возможно, старинная книга эта существовала лишь в воображении Бунина, — и до «Темных аллей» он непрестанно настаивал на своем праве «быть смелым в словесных изображениях любви и лиц ее». В «Солнечном ударе» и «Легком дыханьи», в «Митиной любви» и «Последнем свидании» найдем ту чувственную живопись, то словесное ваяние любовной близости и страсти, которые потом, в прощальную пору жизни Бунина, достигли совершенной и печальной ясности и излучились в триптихе «Темные аллей». Сам Бунин обозначил части его римскими цифрами: I, II, III, — расположив под ними рассказы, должно быть, в строгой и одному ему ведомой последовательности. Соблазнительно здесь пойти за другими литераторами, писавшими о «Темных аллеях», и удовлетвориться лишь их тематическим делением книги: любовь, жизнь, смерть, — по тематике соседствуют, переплетаются в каждой части, поэтому соблазнительнее все же попытаться расшифровать римские цифры подробнее, чтобы явственнее проступили связи и отличия частей.

Покалуж, можно предположить, что основной мотив, обозначенный цифрой I, — прихотливость, причудливость возникновения страсти, неуместность ее в окружающем мире и обязательная расплата за эту неуместность: разбитые, погубленные судьбы; цифрой II — невозможность разлуки для любящих: они могут либо умереть, либо заполнить дальнейшую жизнь муками воспоминаний и тоской по ушедшей любви; цифрой III — неисповедимость женской души, ее мрачное, возвышенное и неистовое служение страсти.

Но, возможно, все это не так. И даже, наверное, не так. Наступал, видимо, некий миг в писании, когда у пишущего появлялось ощущение завершенности, исчерпанности задуманного — вот оно, усмиренное, итискутое в слово воображение, и руки в старческой гречке, счастливо леденев, перебирали листы. Но эта покойная пауза, глубокий, облегченный вздох — два-три дня, а то и всего сутки — прерывались вновь оживавшим, вновь разгоравшимся чувством недосказанности, острым, усугубляемым старостью беспокойством, что если он не дополнит картину вот этой сценой, историей, этой страницей — не дополнит никто, никогда; и, привычно пожевывая бледными губами, кособочась, Бунин выводил, предположим, на листе цифру II или III.

До него в русской литературе такой книги не было, никто до него не вникал в тайные подробности любви с такою художественною (а значит, и нравственною) чувствостью, с таким печальным и освежающим душу обнажением минут страсти — замечательное упорство Бунина в изображении «любви и лиц ее» можно представить в виде чистого и одинокого огня в вечернем поле, к которому почему-то не тянулся, не присаживался ни один из позднейших литераторов, хотя бы на манер путника, торопящегося мимо и на ходу посухувшего к огню озявшие ладони. То ли они опасались, что у этого пламени рассынутся их лиры? То ли было не с руки добираться? То ли, поспевав за летящими днями, во-

обще не знали, что есть такой огонь? Так или иначе, но у него однажды следует собраться и с неприглядной отрывочностью, присущей разговорам у костра, поразмышлять: отчего и по сей день так свежа, прохладна и таинственна листва темных аллей?

Горечь, разлитая по этим рассказам, обладает страшной, завораживающей властью над читательским сердцем: известно оно, сострадав повествованию, моченьки больше никакой нет, а после завершающей точки вновь обращается к началу, вновь жаждет раствориться в каком-нибудь «сказочном, морозном вечере с сиреневым инеем в садах», в сдержанно-мощном течении этой горечи. Исток она берет, как и положено, из мистико-сумрачной зелени родника под снежною небом средней России, из полуденной, счастливой жизни, из любви, настольной полной и радостной, остро чувственной, что душа сжимается тревогой за ее совершенность (в «Темных аллеях» почти нет неразделенной любви, Бунина, должно быть, она не занимала, ибо судьба подстерегает и не шадит только любящих: чем щедрее, жарче их страсть, тем неизбежнее, по Бунину, ее несчастный исход). И тревоги наши не напрасны. Луной ясностью и холодом наполняется слово — Бунин пишет разлуку «Темные аллей» предназначенны для расставания, для этой щемной и безнадежной пылкости, от которой изнемогают его герои. Они зачастую верят, что еще встретятся, что еще длиться и длиться их счастливым дням, но вера эта обрывается выстрелом, смертью, бегством на чужбину, уходом в монастырь. Бунин не признает житейской обыденной завершенности страсти: надоели друг другу, разлюбили, состарились, — слишком ничтожным кажется ему такой итог после таких пожаров, после таких душевных трат. Тем не менее при всех этих роковых изъятиях он никогда не изменяет реализму, не допускает даже случайной оговорки в духе демонического романтизма. Выстрелы, смерти, иные уходы безупречно соответствуют характерам героев, когда и тени сомнения не возникает: а могли ли они отважиться на подобный поступок? Бунин ухитряется на пятистраничном пространстве отправить на свидание некоего Павла Сергеевича, офицера, находившегося в прекрасном расположении духа и ощущавшего в себе «счастливое чувство готовности на все, что угодно»; исчерпывающее очертить историю его любви; застрелить из офицерского браунинга женщину и превратить Павла Сергеевича в арстанта, плывущего на пароходе «Саратов» по Индийскому океану. Событийная плотность такова, что в пересказе реализм оборачивается дурной мело-



драмой, причем при пересказе исчезает, гложет тот словесно-волшебный воздух, которым живет и дышит «счастливое чувство готовности на все, что угодно», заставляющее читателя поверить в этот выстрел и во всеиспытанность бунинского дара: прямо на глазах ступ-

стал, спрессовал огромный роман в маленький рассказ.

Пересказывать что-либо из этой книги — сущее наказание, одна неловкость да и вообще вряд ли возможно. Вот сейчас я хотел проследить историю еще одного выстрела, которым австрийский писатель убил русскую журналистку (рассказ «Генрих»). Начал вспоминать, как появляется эта журналистка: в Лоскутной гостинице Глебова провожает прелестная юная Надя, на Брестском вокзале — черная, жгуче страстная Ли, а в поезде из смежного купе входит к Глебову Елена Генриховна, журналистка, писавшая под псевдонимом «Генрих», — немедленно утратилась вся грустная прелесть рассказа, сразу же нависла над ним какая-то непристойная тень. И как перескажешь, что Надя была «всех холодная и нежно-душистая, в белочной шубке, в белочной шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз», что Ли «зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами», а Генрих, «смеясь, вошла, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми, лирично-коричневыми глазами», — только из этих слов и выясняется поэтически беспорядочная, грешная, полная холостяцких недоразумений жизнь Глебова...

Кстати, со значительно меньшими потерями можно пересказывать прозу Мопассана, столь любимого Буниным, видимо, за родственность художнических пристрастий: писать любовь, жизнь, смерть. Действие в рассказах Мопассана стремительно, хорошо выстроено — оно и только оно выдвигает характеры, безусловно, живые и яркие, но порой чрезмерно, до анекдотической однозначности. Впрочем, Мопассан обожал анекдоты, полной горстью разбрасывал их по своим книгам, в том числе и любовные анекдоты, а событийный каркас анекдота легко запоминается и легко воспроизводится в пересказе. Но и в анекдотах своих, и в рассказах, и в романах, живописуя любовь с нежностью, смехом, печалью и какою-то античной откровенностью, Мопассан все же принуждает признать нас: в любви больше непристойности, нежели поэзии. Так часто она продается и покупается, так часто зависит от курса акций, так легко вытесняется вождельением, так часто сводится к забавной игре и досуговому развлечению, где важны правила игры, а не душевные муки — какая уж тут любовь, одна непристойная несообразность.

У Бунина в любви соединяются родные души, и столько жертвенной преданности в этом соединении, столько

Бунина, как проявление, уместно предположить, сугубо русского понимания чувства. За любовь, или, вернее, мучаясь любовью, русский человек шел на плаху, на каторгу, стрелялся, пускался в загул, принимал монашество. Нужна истовость, может быть, фанатическая, в служении любви — вот на чем настаивал и что проповедовал Бунин в «Темных аллеях».

Поэтому интересна фигура, так сказать, главного служителя любви — героя, идущего под густыми липовыми сводами. Почти во всех рассказах он одинаков: пылок, душевно зорек, элегичен, полон сострадания к женщинам и несколько созерцателен — таков должен быть мужчина, стоящий любви и находящий ее. Странно только, что Бунин позволяет ему быть одинаковым, не наделяя его сколько-нибудь определенным характером. Вряд ли подобную безличность объяснит писательский недосмотр: и генерал из рассказа «В Париже», и молодой человек из «Чистого понедельника», и Левинский из «Зойки и Валерки», и отец из «Ворона» — все живые, написанные с обычной бунинской щедростью. А с какою восхитительной скупостью и с какою подчеркнута сторонней тщательностью написаны обманутые мужья! В «Кавказе»: «... был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку... я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него (вагон). — В. III. — устроил с нею, оглянувшись, — хорошо ли устроил ее носильщик, — и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее...» В «Куме»: «муж уезжает в контору в Москву в девять утра, возвращается в шесть вечера, сильный, усталый, голодный, и тотчас идет купаться перед обедом, с обильным раздеванием в нагретой за день купальне и пахнет здоровым потом, крепким простонародным телом...» В «Дубках»: «Признаюсь, живописен он был. Велик, плечист, туго подпоясан зеленой подпояской по короткому полушубку с цветными татарскими разводами, крепко обут в казанские валенки, кирпичное лицо горит с ветру, борода блестя талым снегом, глаза — грозный умом...» Но, пожалуй, все же пробивается в этих характеристиках бунинская неприязнь к людям, которых разлюбили или вообще не любили. Так и сквозит раздраженно-убежденное: «И подделом нам, если вы недостойны любви!»

Стало быть, «одинаковость» героя умышленна, Бунин сознательно не наделяет его характерной неповторимостью, чтобы она не мешала герою во всех любовных поисках и приключениях быть сердечно пристальным, чувственно наблюдательным и неутомимо восхищаться женщиной, сострадать ей, поклониться ее душевным и телесным тайнам. А лишь героя подчеркнута постоянной художнической сути, «раздоби» его на отдельные судьбы с присущими им житейскими и иными подробностями — и придется приравливать каждую любовную историю именно к этой судьбе, к этому характеру, которому может стать, весьма далеко до печальной пылкости сердца...

Предположим, что в рассказе «Натали» героем был бы не студент Виталий, заехавший погостить в имение дяди, улана Черкасова, и нашедший там «сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней», а его кузен Алексей Мещерский — «картавничий великан, с красным, сочным ртом», человек, судя по всему, недалекий, скучный, с праздною душой. Тогда рассказ превратился бы в историю сватовства этого Мещерского к Натали, их венчания и недолгой жизни в браке (что и происходит, но на задворках рассказа). История, возможно, вы-

шла бы интересной и, несомненно, отличалась бы большими литературными достоинствами, но была бы совсем, совсем не та, не «Натали». Не было бы этой горячечно-страстной прелести слога: «вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести... молодое утреннее возбуждение, блеск выпавших глаз, легкий налет пудры на как будто еще помолодевших после сна щеках и этот смех за каждым словом, не совсем естественный и тем более очаровательный... А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды...» Не было бы той молодой чувственной радости, которой пропитан рассказ: «...Я читал и время до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилежавшие к ней выше кисти и на такие же там, где шия сзади переходила в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова», — и что существеннее всего, без соединяющего рассказ впечатлительного сердца Виталия не было бы юных, живых, очаровательных Сони и Натали, о которых Виталий однажды думал: «Как же мне теперь жить в этой двойственности — в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкой склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады?»

Да, однозначно проявляются чувства героя «Темных аллей», одноликим проходит он по рассказам — и все же есть в нем художественное обаяние, читатель не может, мне кажется, не посочувствовать его пылкому сердцу. Оно столь зорко, видит столь малейшие даже не движения, а дуновение чужой души, что нельзя не плениться этой зоркостью и не признать: да ведь и в нашей душе когда-то брезжили, проносились, жили эти тени.

Женщина в его жизни почти всегда соединена с природой: с лесом, с полем, морем, с облаками, — и он с той же остротой, изощренно-пронзительной, с какой воспринимает окружающую ландшафт, воспринимает и запоминает женщину... «В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руку и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча глядящего кое-где светлячками, — стоит и слушает» («Русь»). «Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы. В застывшей тишине небес и лесов неподвижным ломтем дыни краснела вдали, невысоко над смутным полем, поздняя луна» («Зойка и Валерия»). Женщина неотделима от природы, она ее часть и потому, видимо, наделена некой стихийной, неуравновешенной силой, как ветер, молния, наводнение. Может быть, под влиянием этой силы занесено столько душевных мук в «Темные аллей»?

...Отчего-то каждый раз листая «Темные аллей», вспоминаю Лику из «Жизни Арсеньева». Впрочем, ясно отчего: отблески, отсветы ее характера лежат на многих бунинских женщинах. Ликю, Гликерию, с ее тяжелыми капризами, с отходчивым и каким-то парашим сердцем, с ее преданностью и той избыточной любовью, ценностью и воспетой Буниным. Все кажется, что «Темные аллей» он написал, чтобы Лике не было скучно на том прекрасном возвышении, на которое он ее поднял. Чтобы теснились вокруг нее, говорили что-то несурзное и нежное «жены человеческие, сеть прельщения человека...».

Недавно читал в одном журнале

повесть и встретил в ней сцену любовной близости. Сцена была настолько примечательна своей расхожестью, повторемостью в современной прозе, что я тут же выписал ее: «Казалось, невозможно большее счастье, чем держаться в своих объятиях прекрасную женщину, касаться губами ее волос, вдыхать горьковатый молодой запах духов, исходящий от струящегося платья, слышать биение другого сердца, но нет, есть еще большая радость — обращенное к тебе «ты». Он повторял бесконечно, варьируя на все лады, это такое неожиданное и дорогое «ты». Он осторожно и нежно поцеловал ее в лоб, щеки, подбородок. Ее горячие губы сами нашли его» — и т. д. Сюсюкая, слащавя, автор не заметил, что не употребил ни одного своего слова, а все готовые, литературно зашосенные, и не услышал, как даже в данном, паточно-приторном случае дико и неуместно звучит слово «варьируя». Желание изъясниться «красиво» («исходящий от струящегося») погубило ситуацию, лишило ее естественности, простоты, низвело этот телесно-душевный взлет до некой бесполой риторичности.

Конечно же, немедленно вспомнился Буниин: «Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, спиной ко мне, перед триумом, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных висевших вдоль лица волос».

— Вот все говорил, что я мало о нем думаю, — сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне: — Нет, я думала... («Чистый понедельник»), — вспомнился вовсе не для того, чтобы воскликнуть: «Вот как надо писать!» — а для того, чтобы показать меру житейской трезвости и художественной строгости, полагаю, крайне необходимых в писании таких сцен (туфельки же лебяжьи и черепаховый гребень отнесем к излишеством старых времен). Откровенно волнующая недоговоренность значительно целомудреннее, нежели кокетливо-слащавые излияния.

Однако же, улы, оглядывая на Бунина, призывом учиться у него изображению нежных чувств не изобразишь, не вытравивши из теперешней литературы серенькие, красивенькие описания любовной страсти, любовного горения, похожие на причитания: «И она принадлежала ему, а он ей. И не было на земле ничего, что могло бы разъединить их, потому что то, что было у них, было вечным и было выше всего, и для этого рождались люди и умирали потом, уступая место другим...» и пр. и пр.

Слишком въелось в сознание многих литераторов, что личные наши, так сказать, внеслужебные чувства должны находиться на обочине повествования, за пределами дневных, производственно-общественных отношений. Никто не разубеждает их, что это неверно, что воспитание чувства: как любят люди, как страдают, как ревнуют, как соединяются и разлучаются — начинается, видимо, с их правдивого описания и не бегом, не мимоходом, не в паузах между освоением гор, рек и лесов, а с тщательностью и подробностью, которых заслуживает жизнь сердца. Хрупкость нынешней семьи все повышается, процветают торопливые браки, торопливые разводы, и скорее всего потому, что современный человек, на мой взгляд, разучается чувствовать, не находит уже душевной улады в терпкой медлительности обхождения мужчины и женщины, в милой, несколько неловкой готовности (которую теперь почему-то называют провинциальной) служить женщине: потакать ее слабостям, прощать избыток эмансипированности, — нет, предпочитается так называемая стреми-

тельность чувств, в которой сердце, конечно, не участвует, занятое кровобеспечением этой стремительности, а проще говоря, этого чувственного нахрапа. Из немногих книг, противостоящих ему, борющихся с ним, прежде всего следует назвать «Темные аллей». К сожалению, по какой-то странной инерции за ней долгое время держалась слава некоего кодекса «низких чувственных страстей», хотя, прочитав ее без предубеждения, несомненно, увидишь только поклонение женщине и радость с горечью пополам от ее присутствия в мире — разве этот благородный мотив не делает ее удивительно современной и нужной книгой, особенно в противопоставлении с теперешним всплеском официально расторгнутых, каких-то безумных и скоротечных любовей?

Но покамест живописные открытия, сделанные Буниным в изображении «любви и лиц ее», не освоены, смею думать, должным образом ни нашей прозой, ни критикой, ни читающей публикой. И кажется, вовсе не соприкасались с этими открытиями иные наши журналы и издательства. Автора, рискнувшего на толику реалистической живости в описании, положим, первой близости героя и героини, встречают примерно так: «Эк вы хватили! Пусть она у вас выключает свет, и этого достаточно. Вполне». Автор, разумеется, вскидывается: «Но они же любят друг друга! В жизни же этих минут не стыдятся. Почему же в книге нельзя их показывать?!» «Если бы вы, к примеру, передали эту сцену отрицательному персонажу — пожалуйте. Она бы дополнительно разоблачала его. А тут у вас хороший человек целует, простите — хе-хе! — грудь, глупости какие-то говорит...». Автор наш, пристыженный, возвращается домой и переписывает сцену в «возвышенном» ключе. Тогда-то и появляются «исходящие из струящегося» или «он принадлежал ей, а она — ему» — смутные и жалкие иллюстрации к мифу о непорочном зачатии...

Приблизительность, краснота, замешанная зримость, наглядность, что ли, течения чувства, почти изгнаны из теперешних книг женский портрет, с таким неистощимым художественным разнообразием писавшийся нашими классиками, в частности Буниным. Видимо, некогда иным авторам, занятым, предположим, рационализаторскими муками своего героя, запомнить и перенести на страницу, какие у женщины были губы, щеки, брови, из какого материала сшито платье, как она надевала передник, как тянулась, прижималась, доставая что-то с высокой полки, как сидела, как передевалась — черты эти и движения могут вызвать приливы удивительной нежности или, напротив, удивительной неприязни, и не только у героев, но и у читателей. Потому что в описании чувств, в воспитании их очень важны детали.

Во многих нынешних книгах так и мелькают — до тупой ряби в глазах: «у нее были красивые ноги и высокая грудь», «она была высокая и стройная», «она была плоскогрудая, и у нее было злое лицо», «он залюбовался ее нежным румянцем и вздернутым носиком», — так сказать, визуальные наблюдения прохожего, не притязающего на живость воображения. Допустим, автору все равно, полная или плоская грудь у его героини, допустим, он не придает этой форме значения, он озабочен только содержанием — но какое его герою? Подчиняясь авторской воле, он принужден любить какое-то бесполое существо, обязан принести этому существу зарплату, уверить, что его любовь струится и исходит — впечатлительный читатель может отбросить такую книгу и воскликнуть: «Это еще что за мистика!»

...Хорошо, что есть «Темные аллей», под сенью которых начинаешь понимать, как умеет любить и страдать живое человеческое сердце.

## Стихи участников VII Всесоюзного совещания молодых писателей

Геннадий КАЛАШНИКОВ,  
Москва

### Ленинград

*Кренясь под ветром и притиснув  
грудь к поперечинам оград,  
с привычной грацией артиста  
к воде склонился Ленинград.*

*Здесь время неподвластно числам,  
с волнами соразмеря ритм,  
и вот с размаху бьет о пристань,  
расплюсываясь о гранит.*

*Закованный по горло в камень,  
вздыхнул всей грудью и застыл.  
И, словно связь между веками,  
повисли над водой мосты.*

*Пробит проспектами навыворот,  
глядит и не отводит взгляд.  
За локоть тронет: а не вы ли  
стояли здесь лет сто назад?*



*Меж парком и мной запотевшие стекла,  
там воздуха влажен осенний объем,  
там тополя голая ветка намокла  
и вот незаметно срослась со стихом.*

*Я связь ощущаю с огромным простором,  
его постигаю, едва отличим.  
Я — осень, я — сущего облик и форма,  
его охраняю и сам им храним.*

*Не часть этой шири, размаха, разбега,  
а сам — и размах, и разбег, и разлет.  
И я ощущаю, что белого снега,  
как новой страницы, черед настает.*

### Обычный день

*Наступает вечер, шаг прохожих чаще.  
Погоди, мгновенье, не спеши, спешащий.*

*Посмотри на парков желтизну немую,  
на идущих лица, дождь и мостовую.*

*Не спеши, подумай, подыши свободней:  
то, что было — завтра, то — уже сегодня.*

*Октября двадцатый, пестрый день и трудный,  
дождь, дома, заборы — это жизнь и чудо.*

*Посмотри, запомни день, идущий мимо.  
Груз воспоминаний — легкий груз, незримый...*



*Я знаю: дождь весной прольется,  
он созревает, словно плод,  
он в темной тишине живет,  
как эхо в глубине колодца.*

*Он вскоре хлынет, прост и прям,  
как ртуть, тяжелый и блестящий,  
хлестнет с размаху по стволам,  
пройдет в лугах — густой, звенящий...*

*Но все ж важнее для меня  
не дождь — предчувствие дождя.*

Набаткули РЕДЖЕПОВ,  
Ашхабад

## Таежный этюд

Север затуманен.  
Значит, будет буря.  
Молнии. И гром.  
Дождь обещан нам.  
Туча надвигается  
пеленою бурой,  
еле-еле тащит  
вымя по холмам...  
А потом обрушит  
сок небес на землю.  
Мир вокруг исчезнет,  
не видать ни зги...  
Древние деревья  
равнодушно дремлют,  
как большие птицы—  
пленники тайги...  
Но привлечется ветер,  
тучи разгоняя,  
радугу повесит,  
словно новый мост.  
Мчитесь речка Тында,  
искрами сверкая,  
изогнув по-рыбьи  
золоченый хвост...



Посеребрили тайгу снега,  
ветер примерз к стволам.  
Дальше на Север—  
реже тайга,  
небо все ближе к нам...  
Эта дорога тебе дана,  
рельсами ей заенеть...  
Вечная здесь лежит тишина,  
спит, как белый медведь.  
Словно стекло, под ногами лед  
звонко крошится вдруг.  
И экскаватор песню поет,  
будит тайгу вокруг.  
Машин вереница.  
Резьба колес  
разбросана по снегам...  
И, несмотря на лютой мороз,  
дальше тянется БАМ.  
Машина рычит,—  
это добрый знак,  
мы едем не налегке...  
— Как тебе здесь живется, земляк,  
южанин, в этой тайге?  
А он улыбается мне в ответ,  
ушанка его в снегу:  
— Дыхание наше,  
глаз наших свет  
обогревают тайгу...

Александр ДАРЖАЙ,  
Кызыл

## Юрты

Голубое небо, словно шелк без швов.  
Речки гладь блестит под небесами.  
Словно белоснежные головы грибов,  
наши юрты встали меж горами...

Вновь заря сменяет полночи покров.  
И тувинки-девушки с рассветом,  
после дойки,  
в стадо выпускают коров.  
Весело пастух поет об этом...

Вспоминая детство, снова у реки  
камушки в руках перебираю...  
Вот пастушьих юрт знакомые дымки,  
возле них я душу согреваю...

Будет дел по горло.  
Только у судьбы  
не спрошу покоя, где бы ни был...  
Юрты мои белые,  
белые грибы,  
пусть над нами вечным будет небо...

Перевел Владимир ШЛЕНСКИЙ.

Сабир РУСТАМХАНЛЫ,  
Баку

## Язык Хыналыка\*

Язык Хыналыка,  
Рожденный забытым народом  
В минувших веках,  
В этой маленькой горной купели,  
Когда имена раздавались и тверди, и водам,  
И первые речи на склонах земных зеленели.  
Ходить научившись,  
Знакомы со стилем высоким,  
Звучат языки,  
На трибуны взошедшие ныне.  
Земные мосты миллионов...  
А рядом, под боком,  
Древнейший язык,  
Постаревший на этой вершине.  
Ты чей?..  
Прозвучав, словно зхо, не дашь ты ответа.  
Но в слове, как в крепости,  
Сила хранится былая.  
Ты, ночь пережив,  
Не погас с наступленьем рассвета.  
Горят твои звезды, в полуденном небе пылая.  
Быть может, с огнем принесен ты, как дар Прометей,  
И горы с тех пор говорят на тебе с облаками.  
И движется время, над древним источником рея,  
А древний источник беседует мирно с веками.  
Я все исходил здесь.  
И где бы нога ни ступала,  
Мне твердь откликнулась—  
Я слышал язык Хыналыка.  
Его, словно крылья, надев,

приготовились скалы

К полету...  
И это

останется тайной великой.  
Поднимется солнце над миром  
Сияющим оком—  
Мне сотною глаз на заре улыбнется деревня.  
Как отблески тайны, загадочно вспыхнут сто окон.

Дома оживают,  
А с ними—язык этот древний.  
Безмолвны, мне кажется, по-хыналыкски ограды.  
Деревня на локте лежит, расстилаясь над кручей.  
Нет, видится шлемом она на вершине могучей.  
И падает вниз водопад из кудрей винограда.  
Пролившись, лопочет по-своему дождик весною.  
И голос цветов необычно, по-своему сладок.  
Звучанье тропинок

своею окрашено хною.

И сколько шумов в мироздании—  
Столько загадок.

Чей дух животворный

над древней землею носился?

Чей слух с интересом внимал отзвучавшим беседам?  
Разжать не сумеешь кулак этих скал, как ни силься,  
Поскольку язык их тебе недоступен, неведом.

О чем говорят угольки угасающих маков?

О чем прокричала на землю упавшая капля?

Когда б у реки и у озера был одинаков

Язык,

В родниках чудотворные песни б месякли.

Но ты понимаешь все это,

Язык Хыналыка:

И дождик в долине, и голос снегов на зйлаге.

И светятся скалы, как будто бы древние лики,

И камни, как буквы,—

на темной и древней бумаге.

Язык Хыналыка,

Тебе говор древности ведом.

Ты тайну хранишь

И ни с кем не поделишься ею.

Очаг, подожженный забытым, загадочным дедом,

Ты вечно горюшь,

И огня на земле нет древнее.

\* Хыналык—селение в Кубинском районе  
Азербайджанской ССР. Его жители говорят  
на древнем языке.

## Мое желание



Зерном на пашню упади.  
Оно, разъяв земное лоно,  
Как слово из моей груди,  
Вздыхает свой росток зеленый.

Природа нам дает урок,  
Она меня не раз дивила:  
Мал и по-детски нежен всход,  
А наделен могучей силой.

Душа опять озарена.  
Мой стол, как маленькое поле.  
Даруй мне, жизнь, судьбу зерна,  
И лучшей не прошу я доли.

Возьми меня в товарищи своим  
Сомненьям, одиночеству, печалим.  
Рука в руке,

с тобой мы устоим.

А светлый день и без меня встречаю,

Я полагаю, сам ты проживешь.

Твой светлый день и без меня хорош.

В ненастные, безрадостные дни

Печали, словно записи в тетради,

Как будто сон полуденный в прохладе,

Как пищу в холодильнике, храни.

И мне отдай.

В терпении гранитном

Я растоплю их.  
И беда пройдет.

О многом сердце друга говорит нам.

Иди ко мне—я твой громоотвод.

Как молнии, я ярость погашу.

Я ничего другого не прошу.

Беде твоей я лягу в изголовье.

Ком нервов,

Пусть я буду, как скала.

Я укрошу и гнев и страх любовью,

Той, что, как сыну, мне земля дала.

Своей светлым день сам по себе встречаю,

Возьми меня в товарищи печалим.

Я растоплю их, и беда пройдет.

Твоим печалим буду я за брата.

Ведь человек под молотом невзгод  
Становится порой прочней булата.

# УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА!

Мастерская

«Мастерская» — так в издательстве «Молодая гвардия» назвали сборник статей, вышедший накануне VI Всесоюзного совещания молодых писателей. В нем собраны материалы о литературе и литературном мастерстве под редакцией Леонида Леонова, Константина Федин, Петруся Бронзы, Юрия Нагибина, Виктора Астафова и других мастеров слова. Книга стала подспорьем тем, кто делал первые шаги в творчестве.

«Мастерская» — так можно назвать и VI Всесоюзное совещание молодых писателей, проходившее с 18 по 24 марта 1975 года в Москве, в гостинице «Юность». В нем участвовало 337 начинающих авторов, приехавших с различных концов страны: с тюменских нефтяных промыслов, с ударных строек Украины и Казахстана, из колхозов Молдавии, людей самых различных профессий, представляющих 50 национальностей, писателей на 44 языках народов СССР.

«Молодые советские писатели — активные помощники Коммунистической партии и Комсомола в деле коммунистического воспитания молодежи» — с таким докладом выступил секретарь ЦК ВЛКСМ Л. И. Матвеев, подводящий, что литература сегодня — это один из важнейших участков фронта идеологической борьбы. От Боржоми — железнодорожной узловой станции Николая Островского до БАМа — магистральной арки — пролетел эстафета коммунистического поколения. Сотни тысяч молодых патриотов трудятся на 144 ударных всесоюзных комсомольских стройках.

Докладчик также выложил ряд мыслей о детях, в частности о пионерской литературе, которая должна развивать лучшие традиционные традиции, подчеркивая, что в стране ежегодно выходит около 3 тысяч наименований детской книг на 65 языках.

Директор издательства «Молодая гвардия» В. Галецкий — вице-главный редактор «Комсомольской правды» — рассказал о работе издательства с молодыми литераторами.

А на следующий день началось неформальное общение, что мы назвали «мастерской».

337 молодых литераторов — людей разных национальностей, профессий, творческих индивидуальностей — разделились в 32 творческих семинара: 11 — прозаики, 17 — поэты, самостоятельные семинары драматургов, критиков, детских писателей, переводчиков с языков народов СССР. В жарком дебатах было рассмотрено более 600 рукописей. Семинарами руководили известные мастера литературы: М. Аликонов, М. Лутоцкий, В. Озеров, А. Сильковский, А. Алексин, Л. Озеров и другие.

К их слову жарко прислушивались молодые, с нетерпением ждали они подведения итогов. Михаил Алексин назвал имена талантливых дебютантов — прозаиков, продвигая от некоторых молодых, самостоятельных прозаиков к известности, — проведя всего от вторичности, от подражательства. Виталий Озеров подробно рассказал о работе семинара молодых критиков, проанализировав их творчество и света постановил ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». Итоги поэтических семинаров подвел Михаил Лутоцкий, разбирая произведения некоторых участников в связи с проблемами современной поэзии. Афанасий Сильковский говорил об опыте и уроках семинара драматургов, о задачах, которые стоят перед ними. Анастолей Алексин посетил свои выступления, работа семинара детских писателей, ответил плодотворность участия в нем представителей издательства. О первом и весьма удачном опыте семинара переключившись рассказал Лев Озеров.

Результаты совещания не заставили себя ждать. Ступая два месяца издательство «Молодая гвардия» выпустило поэтический сборник «Золотенко», составленный из произведений восьми молодых поэтов разных профессий: лебуров, геолог, электромеханик, журналист, авиаконструктор... В течение года многие участники совещания выступили с own книги прозы, поэзии, критики и художественных переводов. О них говорилось в докладе на Шестом съезде писателей, на пленумах творческих комитетов, созданных съездом. Теперь имена многих его участников широко известны читателям.



мать Чехов, но потому что в жизни, как и в писательстве, пуще всего боялся он пафоса, та же мысль должна была прийти ему в иной — очень простой и грустной форме.

И пьеса его была простая и грустная — как жизнь...

Она подбиралась к нему исподволь, с первой его мелиховской весны. Должно быть, и сам не мог бы сказать Чехов, с чего это началось. Он не думал о пьесе, когда в апреле 1892 года писал Суворину из Мелихова:

«У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и пре-

красная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой по ложу...» Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюбленным созданием стало меньше...»

Да было ли это началом замысла пьесы? Утверждать или даже предположить было бы, пожалуй, рискованно. Может быть, зародился тут корешок какого-то ощущения, очень смутного и зыбкого; скорее всего — начало мелодии. Но она продолжилась. Где-то в

# К ЧЕХОВУ, В МЕЛИХОВО

Алексей НИКОЛАЕВ  
Фото Василия МИШИНА  
и Владимира ЧЕЙШВИЛИ  
Специальные корреспонденты  
«Смены»

**П**етербург за окнами был холодный и влажный — как памятник осенью. Точно от кашля, подступавшего к горлу по утрам, никогда не мог избавиться Чехов от ощущения сырости и бесприютности этого города. Без сожаления всякий раз уезжал он из Петербурга, а сегодняшний отъезд был побегом.

Чехов присел к столу. Быстро, без привычного «милая Маша», написал сестре:

*«Я уезжаю в Мелихово. Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня, потому что я уже был подготовлен к нему репетициями — и чувствую я себя не особенно скверно.*

*Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лиху.*

Твой А. Чехов.  
18 октября 1896 г.»

Он сложил листок, ногтем провел по сгибу, опустил в конверт. Чемодан собран, узелок с вещами увязан ремнем. Кажется, все.

На Николаевском вокзале было пустынно: товаро-пассажирским ездил мало. По мокрому перрону ходил газетчик с вытертой кожаной сумкой через плечо. Глядя в добродушное лицо парня, Чехов подумал, что сумка его полна отравы — он знал: в каждой газете по рецензии.

— Благодарю, не читаю.

Читать и впрямь было гнушно. Рецензенты изощрались, как могли: «Это не «Чайка», это просто дичь», «Сумбур в плохой драматической форме», «Нелепица в лицах», «Кляуза на живых людей», «Экземпляр для театральной кунсткамеры»...

Нет, пустое купе — вот что теперь ему нужно. Он сидел у окна, рассеянно смотрел на уходивший назад мокрый перрон Николаев-



**«ТУТ ВСЕ В МИНИАТЮРЕ: МАЛЕНЬКАЯ ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ, ПРУД ВЕЛИЧИНОЙ С АКВАРИУМ, МАЛЕНЬКИЙ САД И ПАРК, МАЛЕНЬКИЕ ДЕРЕВЬЯ...»**

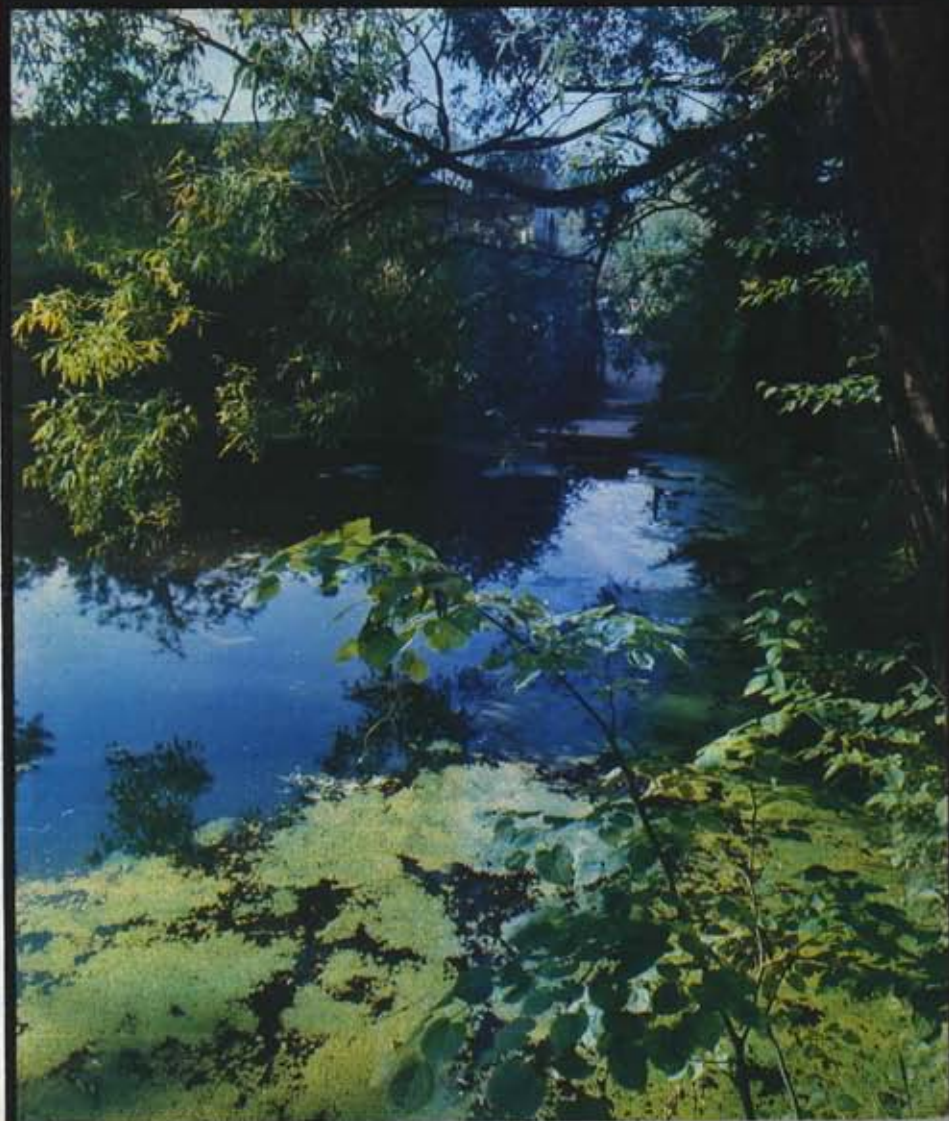
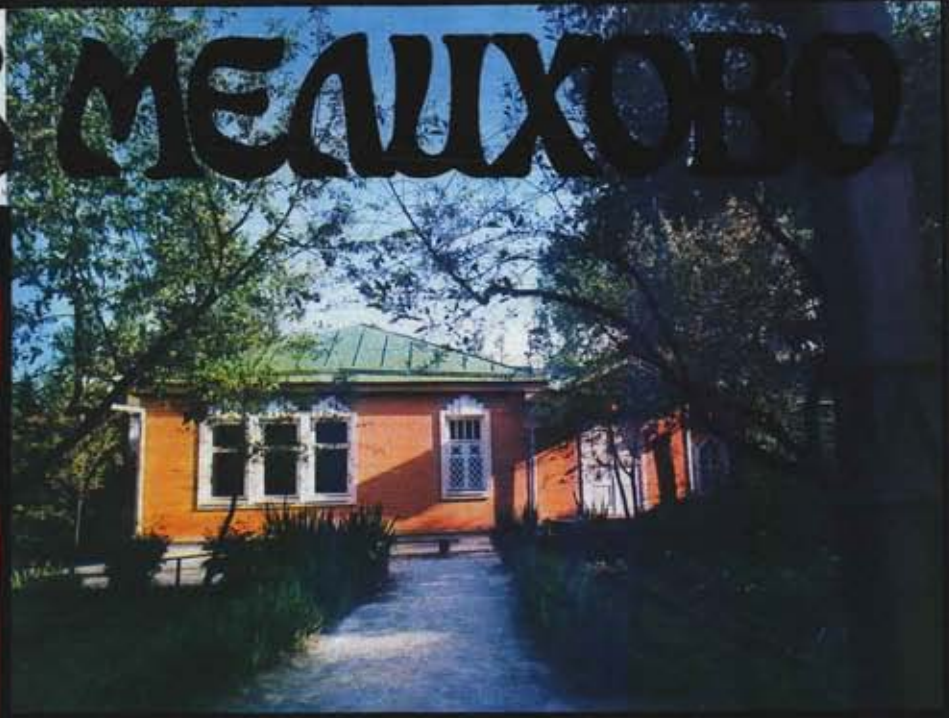
ского вокзала. На душе было скверно.

Что же случилось? Почему пьеса, в которую вложил он ума и сердца больше, чем в другие свои писания и отдал на образцовую александринскую сцену, почему его «Чайка» провалилась вчера вечером с таким треском?!

Конечно, не следовало давать пьесу в бенефис комической актрисы Левкеевой — истинным знаатокам бенефисные цены не по карману. Конечно, семи поспешных репетиций недостаточно было и Комиссаржевской, чтобы «вывести» пьесу... Все это так. Но ведь было полное непонимание! Главное тут в чем-то ином. В другой раз он посмеялся бы, а теперь задумался над шутовской фразой доброжелателя — антрепренера: «Голуба, это же не сценично: вы заставляете человека застрелиться за сценой и даже не даете ему поговорить перед смертью!»

Шутка шуткой, а просто сказать: «Чайка» опередила время.

Именно так должен был поду-



была в мелиховском доме своим человеком. Была ли она влюблена в Чехова? Письма, недавно опубликованные, говорят: да. Он же относился к ней шутливо-ласково и шутливо-влюбленно; границ этих не переходил, точно держал чувства свои в узде ради чего-то более значительного (теперь время сказать: ради литературы, предан которой был весь, без остатка даже для любви). Пусть разбираются психологи в тонкостях чувств молодой девушки, но мы знаем, что, отвергнутая (так и писала: «отвергнутая Вами Лика»), обиженная, быть может, полюбила, как это, увы, бывает, с отчаяния, и, как это тоже случается,—близкого Чехову приятеля. Игнатий Николаевич Потапенко

искусства. Читая рассказы, нельзя отделаться от ощущения, что эти мысли словно ищут своего особого пристанища, требуют для себя формы, в которой автор мог бы «выговорить» все, что думал, чем мучился все эти годы.

Статей об искусстве и литературе Чехов (кажется, единственный из русских писателей!) не писал. Мыслям нужен был иной выход. Выходом таким (случайно ли, не знаю) оказалась пьеса, сюжет которой приходил исподволь, через годы, и только теперь, обретя побочную (опять не уверен, побочную ли?) тему, становился на ноги...

Но даже Суворин, с которым делился Чехов почти каждым своим замыслом, вряд ли мог вполне

элементов действия. «Вид на озеро» и должен создать настроение, без которого нет пьесы. Понять этого в театре, даже таком, как Александринский, по тем временам еще не могли. Искать ли другие причины печальной судьбы первого полета чеховской «Чайки»?!

Так-то оно так, но какого, скажите, автора утешит сознание, что произведение его опередило время? Провал был провалом. Из Петербурга Чехов уехал глубоко оскорбленным. Это было для него настоящей драмой и, судя по воспоминаниям, одним из самых тяжелых дней жизни.

Но, что ни говори, а жизнь — тоже литературный жанр, тот самый, где драма идет об руку с



В ЛЮБУЮ ПОРУ ГОДА ИДУТ  
В ЭТОТ ДОМ ЛЮДИ.



НА ВЕСЕННЕМ СОЛНЫШКЕ

**«ЛЕЙЗАЖИ У МЕНЯ СКРОМНЫЕ, ВЕКОВЫХ КЕДРОВ И БЕЗДОННЫХ ОВРАГОВ НЕТ, НО ПРОЙТИСЬ И ПОЛЕЖАТЬ НА ТРАВЕ ЕСТЬ ГДЕ».**

Тверской губернии, на озере, в усадьбе, летом 1894 года гостил и работал Левитан. Его полюбила хозяйка, а обе ее дочери, каждая по-своему, боготворили маэстро. Сложная, запутанная ситуация страстной и честной натуры художника оказалась не под силу. Он стрелялся. Но жизнь повернула драму иначе: Левитан отделался легкой царапиной. Вызванный письмом, Чехов приехал из Мелихова лечить его. Левитан встретил Чехова с черной повязкой на голове. Потом он взял ружье, ушел к озеру; вернулся с убитой чайкой...

Сюжет? Может быть. Но для Чехова, пожалуй, легковат. Разве что для записной книжки, впрок, на всякий случай. Но «Чайка», должно быть, уже парила где-то над мелиховским домом — еще невидимая, и выходило так, что жизненные коллизии как бы сами собой прорубали просеки в каком-то неясном еще замысле.

Подруга Мариин Павловны, любимица всей чеховской семьи, умница и красавица Лика Мизинова

человек был добрый, обаятельный, способный и удачливый беллетрист, а потом все было так, как бывало в жизни во все века, — очень просто, очень грустно, но, в сущности, логично: любовь с отчаяния не удалась...

Что же, пока это «сюжет для небольшого рассказа», не более. И Чехов не садится за пьесу, видимо, потому, что правда жизни не есть еще правда искусства.

Все эти сюжетно-жизненные перипетии растянулись на четыре мелиховских года, хотя другая жизнь и другая работа шли своим чередом. За это время здесь, в Мелихове, написаны были шедевры русской литературы. Сам Чехов, конечно, никогда не употребил бы столь громкого слова. Но мы делаем это с чистой совестью — список говорит сам за себя: «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», «Ариадна», «Учитель словесности», «Анна на шее»...

Шедевры! Конечно, шедевры. Но подумать следует и о другом.

В рассказах этих речь идет о сложностях жизни и о превратностях любви. Но заметить можно, как ткани почти каждого из них касается новая для Чехова тема

осознать, о чем, в сущности, идет речь, когда получил из Мелихова письмо, датированное октябрём 1895 года: «...можете себе представить, пишу пьесу... Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».

«Пишу не без удовольствия...» Едва ли не единственное признание Чехова такого рода. Ничего подобного о своей работе в обширной его переписке и воспоминаниях мы не найдем. Это говорит о многом; но главное в строках приведенного письма — другое.

«Страшно вру против условий сцены...» Сегодня мы можем прочесть эту фразу иначе: «Пишу, как до сих пор пьесы не писались». Но расшифровка следует дальше. Сразу после действующих лиц называет Чехов пейзаж и выделяет в скобках «вид на озеро». Это отнюдь не ремарка для художника. Похоже, будто пейзаж входит в состав действующих лиц. В пьесе, где нет привычных сценических эффектов и говорится о чувствах, «нежных как цветы», пейзаж, один из существенных

водевилем! В Лопасне пришлось дать телеграмму — смешную, почти в чеховском духе: «Оберу поезд 13. Заднем не курящем вагоне 3 класса забыт на полке узел в одеяле. Обязан ремнями, в котором находится халат, простыня и другие предметы. Вышлите Лопасно. А. Чехов».

Сюжет, вполне подходящий для юного Антоши Чехонте. Да только другие шли теперь времена...

Из Лопасни десять верст — по скверной дороге, на лошадах не барских, — путь долгий. Не просыхавшая летом, с грязью по ступице, дорога эта, и глинистые бугры, и овражки, поросшие хилым березняком и осинником, пригляделись и полюбились ему с той первой весны, когда, оставив Москву, поселился он в Мелихове. И хоть не ставились места эти особенной красотой природы и усадьба куплена запущенная, по всем статьям неказистая, да, видно, нужен был ему очень свой угол в подмосковной глуши: время пришло.

По юным годам пробежали дни торопливых писаний, хождений по редакциям за трехрублевыми гонорарами, минули годы легкой славы Антоши Чехонте; «Степь», «Скучная история» вели к Антону

# «Я ПОНИМАЮ ТРУД КАК ДЕЛО»

Все, кто вышел из цехов «Ростсельмаша», с его строительных площадок, всегда помнят годы своей работы на заводе, его многогранную жизнь. Я не хочу в этом предисловии рассказывать об истории литературной группы «Ростсельмаша». Но вместе с тем не могу не вспомнить 1929—1930 годы, когда на «Сельмашстрое» при редакции газеты «Сельмашстроевец» возникла литературная группа.

Кто были мы, члены этой литературной группы, ее, если можно так сказать, первая смена? Слесари, фрезеровщики, токари, шлифовщики, строительные рабочие.

Что собой представляла литературная группа первых лет строительства «Ростсельмаша»? Это был боевой отряд, находившийся под пристальным вниманием и товарищеским руководством Ростовской писательской организации.

Но не только ростовские поэты и писатели были связаны с литературной группой «Ростсельмаша». На моей памяти приезды на завод писателей Степана Щипачева, Маризиты Шагинян, и, конечно же, навсегда запомнилось нам, молодым строителям, посещение «Сельмашстроя» Алексеем Максимовичем Горьким.

Перечитывая стихи поэтов «Ростсельмаша» в изданной Ростовским издательством книге «Четвертая смена», я не могу не вспомнить и те времена, когда мы, участники этой литературной группы, собрали первые свои сборники, которые затем были изданы в Москве.

Для нас большим событием был выпуск в издательстве «Художественная литература» сборника «О самом главном». Я хорошо помню небольшую книгу стихов, изданную в приложении к журналу «Смена» под названием «Рост». В эту книгу входили стихи Ильи Котенко, Дмитрия Евтушенко и мои.

Сейчас, оглядываясь на пройденные десятилетия, мы видим, как растут новые поэты «Ростсельмаша». Из заводского литобъединения вышли поэты Данила Долгинский, Анатолий Гриценко, Борис Примеров, прозаики Виктор Муратов и Антон Геращенко. Я помню, как литературная группа «Ростсельмаша» отмечала свое 30-летие. Тогда вместе с писателем Всеволодом Кочетовым мы приезжали в Ростов и встречались с литкружковцами.

И вот передо мной стихи Владимира Фролова, Игоря Кудрявцева, Александра Котлярова и других участников литературной группы «Ростсельмаша», которой более шестнадцати лет руководит Рудольф Харченко, недавно принятый в члены Союза писателей СССР.

Как хорошо, что на заводе возле станков и конвейеров рождается новая поэзия. Вся жизнь литература пополняется людьми, знающими жизнь, и не только знающими, но и активно участвующими в ней.

Мне хочется пожелать моим молодым друзьям, землякам больших успехов и в их профессиональной работе и в тех литературных опытах, часть из которых представлена в этой подборке.

**Анатолий СОФРОНОВ**

**Виктор ПОЖИДАЕВ,**  
гончар

## Труд

Я понимаю труд как дело,  
В котором весь ты с головой.  
Пока душа не прикипела  
К нему, ты для него не свой.

Коснешься—и в груди запело,  
И по рукам—до сердца дрожь!  
Я понимаю труд как дело,  
Которым жить не устаешь.

**Николай ПАШКОВ,**  
слесарь

## Слесарь

Мои руки стальными стали,  
Заусенцы ногтей тверды.  
Мои руки привыкли к стали  
И работой стальной горды.

Твердь металла в их шрамы врезана.  
Мои руки тисков сильней.  
Ведь чем больше в крови железа,  
Тем она горячее, красней.

## Сенокос

Со свистом вел косу, в размахе  
Минуя пни и краснотал,  
В пропахшей траве рубахе  
Валки кругами гнал и гнал.  
Лицо пылало от работы.  
Палило солнце—будь здоров!  
И с каждой жаркой каплей пота  
Я прикипал к земле отца.

**Игорь КУДРЯВЦЕВ,**  
инженер

## О России

Налиты соком травы густые.  
Нынче спокойны очи России.  
Двигается время—как это просто.  
Я—не о зимах, я—не о веснах.  
В годы ли счастья, в годы лихих  
Я—о бессмертье. Я—о России!



Ноябрь.  
Ноябрь приходит снова.  
Затих, оградой окольцован,  
Овеянный ветрами сад.  
Вдали торжественно горят  
Костры.  
Спокойно дышат корни.  
Ни звука.  
Раструбы ветвей  
Молчат до срока, будто горы  
В саду уснувших трубачей.

Чехову. А вместе с этим почувствовал он необходимость важного условия человеческого и литературного своего существования: «Если я врач, то мне нужны больницы и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке... Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах, без природы, без людей, без отечества... это не жизнь».

Несколько строк письма—целая этическая программа писателя и человека. Почувствовав эту необходимость, достигший славы Чехов сослал себя на Сахалин. О физических тяготах беспрецедентной поездки через всю Россию на каторжный остров мы знаем. Но не нужно забывать, что была это и нравственная ноша, которую взвалил на себя Чехов добровольно. Шаг этот нельзя считать случайным, потому что с Сахалина ступил он на дорогу, ведущую в Мелихово, и Мелихово оказалось не просто одним из географических пунктов биографии Чехова, но нравственной необходимостью его внутренней жизни. Путь в Мелихово—путь от суеты жизни к самой жизни—был для него неизбежен.

Любопытно, что первыми это почувствовали не читатели Чехова, а мелиховские крестьяне. Был он для них не писатель,—его встречала молва: «Новый помещик». Новый ли, старый, а ждать добра от помещика русскому мужику—примера, пожалуй, еще не бывало. В первый же день вышел случай проверить, каков.

Как раз на меже чеховского

имения был у крестьян прогон для скота. Место узкое, такое, что скотина об изгороди бока обдирает. Попросить бы расширить маленько, да боязно. Но приходят, шапки в руки, и он—шляпу долой. «С чем пожаловали, братцы?» «Да мы насчет выгона, барин. Прогон-то узок. Кабы прибавить... на аршинчик». «Это невозможно». Сказал как отрезал. И сникли мужики. «На аршин, говорите? Нет, ничего не выйдет». А и то сказать, какой резон помещику свою-то землю миру дарить? Тут мужикам историческим этаким жестом почесать бы затылки да и поворачивать с богом. А он: «Аршином здесь ничего не поправишь. Вы изгородь-то на сажень отодвиньте, а то и на две, тогда просторнее будет». Вот те и помещик!..

Внуку крестьянина, сыну мелкого лавочника никогда не изменяло чувство реальности, и не так уж удивительно, что, став писателем, умел говорить он о народе глубоко и проникновенно даже по дачным впечатлениям (Воскресенск, Звенигород, Бабкино). В Мелихове к зоркой его наблюдательности над жизнью народа прибавились заботы о ней.

Да только «прибавились» слово, пожалуй, тут и не тянет. Сказать нужно прямо: в Мелихове Чехов взвалил на себя ношу непосильную. Если бы не все им написанное в мелиховские годы, невозможно поверить, что среди забот общественных, какими повязал он себя в Мелихове, выпадал ему хоть часок для письменного стола. Перебираю сейчас в памяти жизни русских писателей—а ни одна из них праздной в общественном



**ПРИХОДЯТ СЮДА ПО ЗОВУ ПАМЯТИ.**

смысле не была—и не могу—честное слово, не могу!—назвать другого его собрата по литературе, у которого заботы общественные так переплелись бы с личными (если, конечно, посчитать литературу заботой личной, что применительно к Чехову весьма сомнительно).

Легко сказать: построил три школы. Так ведь не Савва же он был Морозов! Хлопоты с лесом, кирпичом, песком, известью, подводами, изнуряющие переговоры с подрядчиками—дело его рук, его времени, нервов, здоровья, наконец. Земство денег давало—разве что крышу покрыть, с мужиков взять нечего, и десять тысяч платит человек, которому и нескольких сотен на собственное лечение собрать не удавалось.

Конечно, мог бы набрать он и побольше врачебной практикой в Мелихове, да не был Антон Павлович Ионычем, особая была у него практика—чеховская. В иные дни дом его напоминал земскую больницу: мужики, бабы с ребятишками на руках шли, ехали в Мелихо-

во со всего уезда; в помощи врачебной («за спасибо»), в лекарствах, купленных на скудные чеховские деньги, не отказывалось никому. А вечером, часто и по ночам, разбуженный чьим-то зовом, в дождь, в сырость, для него гибельную, в пронизывающий ветер трясся в крестьянской телеге по ухабистым дорогам Серпуховского уезда доктор Чехов—к больному. Возвращался под утро, простуженный, с головной болью и кашлял, кашлял...

И не позволил бы никогда Чехов каторжную эту работу назвать подвигом...

А тем временем приводить нужно было в порядок Мелихово. Пустынная, запущенная усадьба ждала хозяйских рук. Работал тут Чехов, как крестьянин: вставал в четыре утра, корпел, спины не разгибая, в саду до высокого солнца. Мастерил цветники, теплицы, ладил клумбы; растения разводил диковинные, каких от века в здешних краях не видали; посадил несколько сотен вишневых деревьев. Но сад, посчитать



**Владимир ФРОЛОВ,**  
лаборант энерголаборатории

## Донщина

Я оттуда, где ветра гневные  
табуны с гиком на буграх,  
где курганы—воины седые—  
смотрят вдаль,  
привстав на стременах...  
Травы—во! По пояс наши травы.  
Глянешь в небо—дна не видно.  
Страх!  
А зимой дымы из труб курчаво  
вьются, как чубы из-под папах.  
Летом солнце хлынет—нету мочи.  
Гром ударит—взрыв над головой.  
И такие звезды светят ночью—  
каждая с кулак величиной.  
По лозе не соки бродят—вина.  
Колос вымни—пригоршня зерна...  
Тихий Дон.  
А разом все—Донщина.  
Так зовется эта сторона.

## Ручей

Среди камней незвонкий ручеек  
струится то нутужно, то свободно.  
Он весь пока застенчивый нарек  
на пробужденные вешнее природы.  
Пока что безмянным он течет,  
то ропщет, то немеет от тревоги.  
И голоса ему недостает  
и нету сил, чтобы спрямить дорогу...  
А вот уже он—юноша-ручей,  
окреп уже и голосом и телом.  
И срок пришел спросить себя:  
— Ты чей?  
И впору братья за большое дело.

**Александра КОТЛЯРОВА,**  
медсестра

## Каленный песок

Из первой литейки «Сальмаша»,  
по тысячам разных дорог  
на стройку народную нашу  
мы возим каленный песок...

Мы делаем рейсов по тридцать:  
водитель, наверно, устал.  
Но снова, как конь норовистый,  
уносится вдаль самосвал!..

Ведь стройке особенно важно  
скорей утплить потолоки.  
Прораб Киселев только скажет:  
«Давай, с твоей легкой руки!»

И вот я отчетливо вижу:  
блик солнца ложится на блок,  
и в ведрах уходит под крышу  
пушистый, каленный песок...



Мне не забыть до смерти,  
как мать моя плакала громко,  
когда получила в конверте  
отцовскую похоронку.  
Был месяц снегов и морозов,  
и мерзли в застрехе птицы.  
Лишь только горячие слезы  
не стыли на бабых лицах.  
Но время не терпит слабости,  
и мы одолели беды.  
...И слезы катились—Радости  
в торжественный День Победы.

**Надежда НОВИКОВА,**  
кладовщица

## Мой тихий Дон

А грусть такая светлая, как небо.  
А небо голубое, словно грусть.  
А над рекой склонилась тихо верба,  
Я так же тихо над рекой склонюсь.  
Мой тихий Дон,  
Где дух полынный горек,  
Где свет струится прямо из воды,  
Где ястреб на коричневый пригорок  
Присел и думы думает свои,

Где за казачьим куренем старинным  
Дед бородастый хитро сплетень,  
Где выходила за стога Аксинья  
В залитый солнцем самый яркий день.  
И не в словах, не в чувствах, видно, дело,  
Частицу от себя не оторву.  
Здесь мать моя недавно поседела.  
Здесь умер дед.  
Здесь я сейчас живу.

**Василий ОДИНЦОВ,**  
шофер

## Казачий хутор

Над степью, над речкою спящей  
Зарделась в тумане заря.  
Тих маленький хутор казачий,  
Он в Дон опустил «якоря».  
Дымок поднимается выше,  
И хутор стал сразу иным:  
Он будто бы в плавании вышел,  
Поплыл по просторам речным.

## Ночная пахота

Ты под луной идешь по борозде,  
Забыв о площадях и тротуарах,  
И кажется, что борозды—звезде,  
Над ними поднимаются Стожары...  
Ты видишь: фары трактора зажглись.  
И яркий свет отбросил в сумрак тени.  
И вот среди распаханной земли  
Ты сел за рычаги на пересмене.  
В работе напряженной не до сна.  
От фары свет ложится на дорогу.  
Ведешь ты трактор. И опять луна  
Помощницей плывет за плугом сбоку.

**Нарцисс ШАНИН,**  
инженер

## Мой товарищ

Калит он сталь.  
В его работе  
Движение, точность и размах.  
И вот он,  
Коренастый,  
Плотный,  
Выносит пламя на руках...  
Калит он сталь.  
Его характер—  
Сильнее всякого огня.  
Я им горжусь—  
Не слова ради.  
Такой товарищ у меня.

## Ночью

Взгляни, как речку вывездила ночь,  
Как Млечный путь мостом пролег  
на берег.  
И плещется у самых наших ног,  
Бормочет что-то задремавший ерик.  
То прокричит встревоженная выпь,  
Другая отзовется где-то эхом.  
И зашумит в ночной степи ковыль,  
И ветер жалобно вздохнет под стрехой.



**И ОДНО ПОКОЛЕНИЕ СМЕНЯЕТ ДРУГОЕ.**

можно,—для себя. Да не мог нигде  
видеть Чехов равнодушно голую  
землю. Как доктор Астров, одер-  
жим он был лесами—вырублен-  
ные вокруг Мелихова участки за-  
сеял елями, кленами, дубами, вя-  
зами, соснами, лиственницами.  
Говорил, что каждый человек дол-  
жен посадить в жизни хотя бы  
одно дерево. За скольких же из  
нас поработал Чехов!..

Взошел и поднялся чеховский  
лес. Сотни вишневых деревьев, им  
посаженных, сплошным белым  
облаком цветут в мелиховском са-  
ду, как некий прообраз последней  
его пьесы. Тут ли первые ее ко-  
решки—не знаю. Но вот было  
рядом с Мелиховым имение Серге-  
я Ивановича Шаховского, внука  
декабриста, человека редкой ду-  
ши, бесребреника и товарища  
Чехова по земским делам. Шахов-  
ской разорился, вынужден был  
продать имение какому-то пред-  
принимателю. Тот устроил в ста-  
ринной усадьбе дорогой пансионат  
для московских дачников. Явле-  
ние в конце века для России, ко-  
нечно, нередкое, но так и хочется

ухватить эту ниточку и потянуть  
ее к «Вишневному саду». И кстати:  
к Шаховскому ездил Чехов лечить  
детей, больных дифтеритом; был  
и врачом и сиделкой... Тут выхо-  
дит как бы обратная связь: «Поп-  
рыгунья» давно написана, а ка-  
жется, Дымова писал Чехов с  
себя.

Да вот писать—то времени почти  
и не оставалось.

«Одолели амбулаторные боль-  
ные и развезды. Если же выпада-  
ет на мою долю свободный часок,  
то я спешу отдать его своему «Са-  
халину».

Говорит это один из величайших  
писателей. В положении подобном  
нельзя представить себе ни докто-  
ра медицины Франсуа Рабле, ни  
полкового врача Фридриха Шил-  
лера. Делить жизнь между лите-  
ратурой и медициной, как Чехову,  
им не приходилось. Должно быть,  
потому так легко вообразить себе  
Чехова с докторским чемоданчи-  
ком на передке мужицкой телеги  
или в саду, с лопатой, тяжелой от  
глины, и так трудно—вот в этом  
кабинете, оклеенном зеленоваты-

ми обоями, с зелеными креслом и  
диваном, за этим письменным сто-  
лом, покрытым зеленым сукном...  
А между тем под лампой с зеле-  
ным коллапом рядом с француз-  
ским медицинским журналом ле-  
жат влажные еще корректуры из  
«Русской мысли» с главами «Са-  
халина»; они покрыты сетью ак-  
куратной чеховской правки.

Писал эту книгу—как воз тя-  
нул. И не мудрено: понимал, что  
один вступил в единоборство с  
русской каторгой; потому и гор-  
дился, хотя слово такое к Чехову  
и не вяжется вовсе, но гордился, что  
в его «литературном гардеробе бу-  
дет висеть и этот жесткий арес-  
тантский халат».

На почту, в Лопасню, отправле-  
ны выправленные корректуры  
«Сахалина», а крупные суховатые  
руки, с трудом отмытые от земли и  
пахнувшие еще йодоформом, берут  
стальное перо, выводят на нача-  
той рукописи новую фразу: «Ког-  
да зеленый сад, еще влажный от  
росы, весь сияет от солнца и ка-  
жется счастливым, когда около  
дома пахнет резедой и олеан-  
дром...»

Поет, светится, искрится, благо-  
ухает фраза. Тяжелый, мрачный,  
пронзительно страшный «Саха-  
лин» и тонкая, как осенняя па-  
утинка, ткань «Дома с мезони-  
ном»; кандальный звон, удары  
плетей по живому телу и «Мисось,  
где ты?». Каким огромным долж-  
но быть сердце, чтобы вместить  
такой диапазон чувств!..

Поразительно? Да. Но разве два-  
дцать написанных Чеховым томов  
не поразительно будет сопоста-  
вить с образом его жизни, о кото-  
ром здесь бегло рассказано? Доба-

вим к этому, что на письменном  
чеховском столе чужих рукописей  
побывало значительно больше,  
чем его собственных. И хотя ста-  
тей о литературе он не писал,  
говорил, что никогда не сумеет  
объяснить, отчего ему нравится  
Шекспир и совсем не нравится  
Златовратский, учителем лите-  
ратурным, воспитателем писателей  
молодых был Чехов, по отзывам  
современников, непревзойден-  
ным.

— Все хорошо, художествен-  
но,—говорил Чехов приехавшей в  
Мелихово Щепкиной-Куперник  
мягким своим баском, любовно  
поглаживая суховатой кистью  
большой руки рукопись молодой  
писательницы.—Но вот у вас, на-  
пример, сказано: «И она готова  
была благодарить судьбу, бедная  
девочка, за испытание, посланное  
ей». А надо, чтобы читатель, про-  
читав, что она за испытание  
благодарит судьбу, сам сказал бы:  
«Бедная девочка»... Вообще: лю-  
бите своих героев, но никогда не  
говорите об этом вслух...

— Знаете что?—говорил он дру-  
гому своему посетителю, приехав-  
шему с рукописью из Мос-  
квы.—Плохо будет, если, описы-  
вая лунную ночь, вы напишете: «С  
неба светила луна», «С неба лился  
лунный свет». Плохо! Плохо! Ска-  
жите, что от предметов легли чер-  
ные резкие тени,—дело выпрает  
в тысячу раз... И главное, голуб-  
чик, стройте фразу, делайте ее  
сочней, жирней. Надо, чтобы каж-  
дая фраза прежде, чем лечь на  
бумагу, пролежала в мозгу дня два  
и обмыслена. И правьте, правьте!  
Посмотрите рукописи всех на-  
стоящих мастеров—испачканы,

перечеркнуты вдоль и поперек, потерты и покрыты латками...

Для каждого начинающего находил Чехов особенные и нестертые слова, конкретные по поводу каждой рукописи. Общим, пожалуй, было одно: самое страшное для писателя сидеть в четырех стенах и вытягивать из себя свои произведения; жизнь нужно видеть, слышать подлинные человеческие слова и мысли и обрабатывать, а не выдумывать их.

Но, ссылаясь на мастеров, никогда не ставил примером себя, хотя жизнь его и понимание писательства могли быть лучшим для начинающего (да разве только для начинающего!) литератора примером.

Посетители Мелихова, запомнившие Чехова уставшим земским доктором, издерганным доброхотом по уездным делам, работником-садоводом, аскетичным тружеником-писателем, бескорыстным, времени не жалевшим наставником молодых, знали его и другим — в минуты отдыха.

А не часто находил Чехов время для отдыха. Поставит лопату, присядет на скамейку — тут кидаются к нему с лаем две таксы: черный Бром и рыжая Хина. Разговаривает Чехов с собаками, как только он один и умеет, так, что свидетели этой «беседы» — приехавший из Петербурга писатель и мужик, приходивший к Чехову за микстурой, — оба покатываются от смеха.

— Хина Марковна! Страдалица! — говорит он раздобревшей на деревенских харчах собаке. — Вам ба лечь ба в больницу! Вам ба там ба полегчало... Бром Исаич! Ай-ай-ай, как же это можно? У отца архимандрита разболелся живот, и пошел он за кустик, а мальчишки вдруг подкрались и пустили в него из шприцовки струю воды! Как же вы это допустили?..

И Бром начинает злобно ворчать.

Хочет писатель, хочет мужик, заразительно смеется Чехов. Но такие минуты для него все более редки. Кто-то, а он-то знал и силу смеха и необходимость его в человеческой жизни, да только жизнь-то сложена не из одного смеха...

«Сахалин» напечатан, и хоть проехалась по нему тяжело цензура, высшие чины «министерства каторжных дел» срочно выясняют, кто пустил Чехова на Сахалин; «Дом с мезонином» читает вся Россия; вылетела из мелиховского гнезда «Чайка». Отгневалась, отплакалась, отлюбила чеховская муза, а Чехову кажется, что ничего еще не сделано им для русской литературы, для русской жизни. А жизнь эта, сердцевина ее, была тут, за воротами мелиховского дома...

Мужичью жизнь знал Чехов от корня, во всех ее ипостасях. Да не в том только дело, что где-то глубоко бродила в этом русском интеллигенте мужичья кровь. Умилялся мужиком, идеализировать деревенскую жизнь, как делали это многие — и теперь по праву забытые — его современники, Чехову, кроме присущего ему острого чувства реальности, не давало художественное чутье, нетерпимость к фальши.



Но одно дело видеть, другое — оценить. Беспросветную дикость, беспробудное пьянство российской деревни понимал Чехов как следствие, потому что распознал корни неразрешимого для его времени конфликта — чистой и наивной, в сущности, крестьянской души и условий существования. Конфликтом этим и началась для Чехова новая тема — крестьянская.

Она звучит сразу главной своей мелодией, как увертюра:

«...были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что мужичья жизнь, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость».

Это писал Чехов, для которого раньше обычной была фраза: «Ничего не разберешь на этом свете». Здесь же явственно слышен какой-то особый, подчеркнутый и не свойственный преждему Чехову нравственный напор. Нет в этом отрывке недомолвок, полутон, поставлены все точки над «i», все сказано с такой определенностью и страстностью, что мы словно ощущаем здесь «перст указующий» позднего Толстого. Но это Чехов. Новый Чехов. Отрывок взят из «Моей жизни», повести, которую нельзя назвать крестьянской, но которая содержит как бы ступок мыслей и чеховского понимания крестьянской проблемы.

Так подходил Чехов к главному, быть может, мелиховскому своему творению — к повести «Мужики».

Но чтобы не упустить и дать почувствовать читателю очень важную для Чехова связь жизни с литературой, представим слово автору:

«Вчера пьяный мужик — старик, раздевшись, купался в пруду, дряхлая мать была его палкой, а все прочие стояли вокруг и хохотали. Выкупавшись, мужик пошел босиком по снегу домой, мать



за ним. Как-то эта старуха приходила ко мне лечиться от синяков — сын побил».

И вот другой отрывок:

«Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь».

Первый отрывок из мелиховского письма, второй из повести «Мужики».

«Мужики» ошеломили читателей беспощадностью реалистического письма. Страшная картина нравов и крестьянского бытия была по людскому равнодушию с такой неотразимой силой, что каждый читающий должен был дать страшный ответ на давний российский вопрос: кто виноват?

Позже, покидая Мелихово, Чехов говорил, что после «Мужиков» Мелихово для него исчерпано. Но ошибся здесь Антон Павлович: мелиховские впечатления не избились. Повесть эта была началом чеховской «мужичьей» трилогии: за ней последовали «Новая дача» и «В овраге». Но это будет потом. А теперь на мелиховском горизонте снова появилась «Чайка»...

Тем временем произошло в России событие, которое оценят позже, — готовился начать свою жизнь Художественный театр. Трудно сказать, как сложилась бы судьба нового театра, если бы один

из создателей его — Владимир Иванович Немирович-Данченко — не оказался близким и старинным Чехову приятелем. Антон Павлович, зарекавшийся когда-либо давать «Чайку» на сцену, после долгих и бесплодных просьб Немировича получил от него письмо, которое в конце концов поколебало его непреклонность: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, т. к. «Чайка» — единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты — единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с таким образцовым репертуаром».

Так начала «Чайка» свой новый полет. Но, странно, вторая ее сценическая жизнь опять, как и во времена создания пьесы, переплелась с судьбой самого Чехова... 9 сентября 1898 года Чехов приехал из Мелихова в Москву. Возле подъезда Охотничьего клуба (у Художественного театра не было еще своей сцены) он впервые увидел молодую, начинающую актрису Ольгу Леонардовну Книппер...

Через несколько дней Чехов уехал в Мелихово, потом в Ялту. А в зимний холодный вечер 17 декабря Художественный впервые давал «Чайку».

Никогда после не знали в театре такого волнения. От актеров пахло валерьянкой. Сидя спиной к залу и слушая монолог Нины, Станиславский, игравший Тригорина, поддерживал ногу рукой, чтобы не дрожала... Дали занавес первому акту. Гробовая тишина зала была страшна и убийственна. За кулисами некоторые актрисы были близки к обмороку. И тут началось: зал взорвался бурей аплодисментов; зрители неистовствовали; искусственные театралы, не сдерживаясь, вскакивали на стулья, вызывая актеров и автора...

А Чехов был в пустынной, неприютной, продутой пронизывающими зимними ветрами Ялты. Он стоял на берегу; опирался на палку, сутулился, кутался в пальто, вздрагивал от холода и смотрел на шумевшее, подступающее к ногам бурное море...

Вспоминал ли он о Мелихове? Должно быть, вспоминал. Не мог не вспоминать, потому что Мелихово — по написанному, по продуманному, по понятному — вместило целую писательскую жизнь.



# ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СМЕНЫ»

## ПРОЗА



### О главном и повседневном

Сейчас, накануне седьмого Всесоюзного совещания молодых писателей, мы вновь возвращаемся к предыдущей, шестой встрече творческой молодежи, которая выявила новых талантливых писателей. Один из них, Генрих Далидович, — молодой белорусский прозаик.

Герои его книги «Тепло на первоцвет» («Молодая гвардия», 1978 г.) — односельчане, земляки автора. Сельский быт, взаимоотношения людей, морально-нравственные устои деревенской жизни — вот темы, волнующие молодого прозаика. В рассказе «Тепло на первоцвет» говорится о тяжелых послевоенных годах жизни на селе, о заботах и трудностях, в которых росло первое послевоенное поколение. С присущей, кстати, и всем другим произведениям искренностью Далидович рассказывает о детстве маленького Стасика. Автор тонко чувствует психологию ребенка, поэтому так правдивы и трогательны образы юных и в других рассказах Далидовича: видно стремление проникнуть в самую суть детского и юношеского восприятия мира.

Хотя Далидовича в основном привлекает тема мирной, трудовой жизни деревни, в нескольких рассказах он берет за несомненно сложную тему Великой Отечественной войны. Автор волнуется те качества человеческого характера, которые проявились в испытаниях военного времени, тяжкая судьба белорусского народа становится эхом трагедии маленького села Янковичи, на истории которого Далидович сконцентрировал внимание читателя (рассказ «Янковичи»). В коротком рассказе «Памятник за оклицей» перед нами образ пожилого Левончика, служившего в годы войны у немцев. Измена Левончика на всю жизнь оставила неизгладимый след в его душе и в душах его односельчан. Живо и ярко представлены здесь вопросы чести и совести, вопросы долга. И памятник за оклицей напоминает одним о незабвенном героизме, другим — о подлости, напоминает и служит мерилом трудовой жизни, строгим безмолвным судьей человеческих душ.

Особое внимание хочется уделить триптиху «Учителя». Первые два рассказа — это жизнь, полная энергии, энтузиазма, горения, жизни, которой живут молодые учителя Логвин и его жена Ольга. Избран отдаленный уголок земли, куда с неохотой ехали другие, супруги-учителя посвящают свою жизнь сельским ребятам. Хорошие педаго-

ги и доброй души люди, они стали любимыми и уважаемыми на этой ставшей им родной земле. А рассказ «Пенсионер» — о человеке, отдавшем учительскому делу всю жизнь. Уходя на пенсию по болезни, старый учитель осознает с гордостью, сколь велик и важен повседневный труд учителя и воспитателя, открывающего дорогу к знаниям тысячам детей.

Все работы Генриха Далидовича построены на реальной, живой жизненной основе, поэтому они так волнуют, призывают возвращаться к самым земным и повседневным заботам нашей жизни. Безусловно, такие произведения всегда будут восприниматься с интересом, и читатель еще не раз обратится к новым работам молодого белорусского прозаика Генриха Далидовича.

Игорь ЖЕГЛОВ,  
студент

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



### Счастливым счастьем людей

Свою книгу «Русло реки народной» («Советский писатель», 1978 г.) о творчестве известного мастера русской прозы Григория Коновалова критик и литературовед Николай Машовец предваряет словами самого писателя, как бы характеризующими его главное душевное состояние: «...счастливым счастьем близких мне людей».

Ценность книги Н. Машовца в том, что в ней исследуется творчество художника в неразрывной связи с его биографией и биографией страны, с наиболее значительными социальными событиями, родившими сюжеты очерков, рассказов, романов писателя-волжанина.

Г. Коновалов начинал, как и многие видные литераторы, с очерков. Критик доказывает естественность такого пути: обращение к очерку, к документальной публицистике обогащает писателя знанием жизни, ее определяющих черт и фактов, знанием человеческих характеров.

Исследовательский труд критика убедительно показывает, сколь широк круг интересов и диапазон творческих исканий прозаика. Если многие рассказы и роман «Былинка в поле» проникли в первопричины, в существо сложных, повстанческих событий, происходивших в нашей деревне двадцатых — тридцатых годов, то в романе «Университет», обращенном к жизни интеллигенции, создан впечатляющий образ ученого Ильи Кожарова, который выступает мужественным, интеллектуально вооруженным защитником завоеваний отечественной культуры, русской фи-

лософской мысли. Если в «Истоках» писатель живописует красоту и величие судеб представителей нашего рабочего класса, то свой последний роман «Предел» он посвящает актуальнейшим проблемам сегодняшней колхозной деревни...

Н. Машовец вместе с нами радуется тому, что писатель не просто ставит проблемы, а создает подлинно художественные полотна, заставляющие читателя взволнованно размышлять об этих важнейших социально-нравственных проблемах, вместе с героями произведений докапываться до их основы, до их сути, до причин и последствий их возникновения.

Автор не оставляет без пристального внимания буквально ни одного аспекта: идейное направление, тему, сюжет и в их числе язык произведений, который, как доказывает критик, тяготеет к фольклорной сказовости, к элиптичности.

Детально, с предельной объективностью оценивает Н. Машовец и ранее написанные работы о творчестве большого писателя с Волга.

Волга... Ее образ живет в книге «Русло реки народной», как и в самых произведениях Г. Коновалова. Критик поэтично и тонко соединяет характер творений прозаика с характером великой русской реки, с ее широтой и глубиной, с ее очарованием и полноводьем. И поэтому столь закономерно звучит утверждение, что творчество Г. Коновалова «своими родниковыми водами питает литературную Волгу».

Елена СЕТУНСКАЯ,  
студентка

## ПОЭЗИЯ



### Высокая любовь

С интересом прочитал я новую книгу слесаря из Коломны, участника VI Всесоюзного совещания молодых писателей, теперь студента Литературного института имени А. М. Горького Олега Кочеткова «Травяная дорожка» («Современник», 1978 г.). Характерная черта ее — сплав собственного мироощущения с жизнью во всех ее красках.

В один узел сплетены желания поэта постигнуть едва различимые ноты природной, мировой симфонии, ощущение «будущей» стихии ветра. В единую творческую гармонию сливаются приметы современной жизни и личное, непосредственное переживание молодым поэтом истории России, чувство родной земли.

Основная лирическая тема (скорее лирическая канва) книги — «жгучая, кровная связь» с земным бытием, природой, временами года, журчанием воды, шорохом опадающей листвы. Источник лиричности, душевной

искренности — в самом восприятии мира как средоточия животворных сил, как естественного слияния природного пласта с творениями человеческих рук. Непосредственно, плавно осуществляется переход от высочайшей ноты, выраввшейся на широкой лирической волне, к раздумью над тайнами бытия, к своего рода философскому осмыслению.

И мысли далекого взлета,  
И узы путей дорогих,  
И голос тревоги, работа,  
Дыхание поступков благих  
Даруют мне неотвратимость  
Запомнить все вечным, святым...

На лучших стихах О. Кочеткова лежит печать восприятия традиций русской классической поэзии. Рассуждения о «торопливом беге времени», мотив «стародавнего немеркнувшего роя звезд», подслушанное «что-то трепетное, звучащее на едва уловимой струне» воспринимаются как лично пережитое, выстраданное, неподдельное. Самые современные, животрепещущие темы, на которые написаны сотни стихотворений, приобретают у поэта личный, неповторимый оттенок.

Почти каждое стихотворение, как выдох, на одной естественной ноте. Чаще всего энергия, напряженность слова находят свою непосредственную форму без излишних украшательства.

Поэт учится у своих предшественников, стараясь не подражать им. Не всегда это удается, непосредственность местами подменяется прямолинейностью, иные стихотворения не выходят за пределы лирической описательности. Но не в этом суть, все это преходящее. Главное — человек в полной мере ощутил лирический простор, в том, что у него есть свое поэтическое мироощущение.

В сумрачной тающей выси  
Над молчаливым тобой —  
Долгие тихие мысли,  
Ставшие кровью, судьбой...

Перед нами поэт с широким, объемным ощущением жизни, говорящий своими словами о самом остроем, поэтическом завете которого —

Думай с высокой любовью  
о кровном,  
Может, для этого мы и живем...

Сергей КУНЯЕВ,  
студент



### Грани рабочей души

Из самых лучших побуждений созданы поэты стихи о рабочем человеке. Но случается, что стихи эти не становятся настоящими явлениями поэзии, не трогают читателя, потому что в них присутствуют в основном внешне признаки труда, а глубинного понимания психологии рабочего человека нет.

Достоинство нового сборника Александра Рева «Грани» (Волго-Вятское книжное изд-во, 1978 г.) в том, что автор простые и одновременно сложные истины труда постиг и сумел поэтически емко и образно выразить. Сам он рабочий человек, был слесарем, строителем. С той поры прочно вошли в его жизнь и в его поэзию люди, творящие окружающий мир молотом или мастерком:

Взаимосвязь моей руки  
С другими сильными руками  
Дают мне повод для строки  
И право говорить стихами.

В одном из стихотворений Александр Рева прямо сравнивает процесс труда с тем, как слагаются песни. Стучат молотками два мастера: молодой и старый. Первый — легко, будто играючи. Для второго каждый удар весом. О разном поют их молотки: о маящих далах и о том, как не дает уснуть ночами натруженное за длинную жизнь тело. Но удары молотков сливаются вместе: «Двое, работая, выковать ладят разные песни в общую пелену».

Уважение к труду пришло к поэту из военного детства, когда совершенно конкретными и понятными прозвучали для него лозунги «Бить врага трудом!» и «Твой труд — твоё оружие». Такими он перенес их и в сегодняшний мирный день. Не громкие слова, сказанные по поводу и без, ценит поэт, а неуспокоенность рабочих рук и неудовлетворенность сердец, завороченных «властью работы», когда «не естся и не пьется», но итогом этой маелы становятся большие дела.

Да и не только дела венчают законченную работу. Самое главное — человек становится лучше, интереснее, увереннее в себе:

Знают парни: металл и камень  
И характер  
шлифует труд.

Хорошее качество, присущее поэзии Александра Рева, — большая смысловая наполненность стиха. Он не раскисает строчки на любовании личными переживаниями. Из своих впечатлений он отбирает лишь то, что может быть значительно и интересно читателям, как-то обогатит их. И поэт рассказывает о своих чувствах, возникших на ступеньках кургана славы: «Этой лестницы ступени — святость отчего крыльца», у которого нельзя солгать отцу с матерью, покрывить душой перед самим собой. Где весь ты как на ладони, и со своей радостью и со своей болью.

В стихотворении «Движение лета», передавая свои ощущения от яркого июльского утра, А. Рева пишет:

Как вымытые окна в доме,  
Душа доверчиво раскрыта.

Многозначительно и многозначно назвал Александр Рева сборник стихотворений — «Грани». Это широта затронутых вопросов и неожиданность ответов на них; это преломление окружающего мира в сознании поэта; это нравственная красота героев книги — людей труда, шлифующих металл и собственный характер. Это, наконец, сам автор, показавший нам разные грани своей души.

Елена ЛЮБОВИКОВА,  
журналистка

# НА ЛЬДИНЕ

**К**арысь проснулся внезапно, рывком, как почти никогда не просыпаются дети. Он сел в постели и с удивлением услышал, как торопливо и гулко бьется его сердце, как холодно становится в животе и как суетливо и щекотно бегают маленькие мурашки по коже на спине. Карысь закрыл и вновь открыл глаза, пошевелил пальцами и осторожно спустил ноги с кровати.

Сквозь плотно задернутые разноцветные шторы в комнату слабо пробивался сине-зелено-оранжевый свет, который напоминал Карысю почти забытые впечатления от ныряния под воду с открытыми глазами. Но ныряние это когда—это летом еще будет, а теперь... У Карыся сладко замерло сердце, он босиком прошлепал к окну, отдернул шторку и, навалившись локтями на подоконник, посмотрел в сторону Амура. Серый, с синими промывами луж, взбугрившийся санной дорогой, студенисто оплывшими торосами, лед был не похож сам на себя. Он показался Карысю беззащитно слабым и жалким. Другое дело—осенью, вот тогда лед так лед: голубой, упругий, со множеством таинственных трещинок и пузырьков, хрустящий и холодный. Однако разочарование Карыся было секундным, почти никакого следа в нем не оставившим, и потому через минуту он уже одевался в сенях, с восторгом думая о предстоящей вылазке на Амур. Он видел, как выбегает со двора, перепрыгивает лужу, несет мимо огорода, кубарем скатывается с крутого берега и... Именно в этот момент вошел отец. Он удивленно оглядел всклокоченного после сна Карыся, неправильно надетые валенки с калошами, шапку в руке и шарф в кармане, потом неопределенно хмыкнул и весело сказал:

— Ты, конечно, прежде всего умылся, почистил зубы, заправил свою постель, поел и теперь решил погулять?

Карысь зачем-то надел шапку и вздохнул.

— Да, ты поел, поди, и посуду после себя помыл,—не унимался отец.—Ну, брат, ты делаешь успехи, просто доразительные успехи.

Карысь снял шапку и начал раздеваться, изо всех сил стараясь не встречаться с глазами отца. Он снял курточку, молча пошел в горницу и застелил постель. Потом, подставив маленькую скамеечку и встав на нее, решительно поддел совок умывальника и отчаянно потонул глазами в мокрых ладонях.

Потом они вместе сидели за столом, и Карысю очень нравилось, что отец поставил одинаковые кружки, приготовил одинаковые бутерброды и положил в тарелки по одному одинаковому яйцу.

— Кто кого?—Отец взял свое яичко.

— Ага!—Карысь старательно прицелился и сильно ударил. Его яйцо хрустнуло и мягко осело в руке. Карысь огорченно разжал кулак и стал подозрительно осматривать трещины.

— Не обязательно бить сильно,—посоветовал отец,—гораздо важнее ударить точно. Видишь, у тебя выитина сбоку, значит, ты ударил не «носом» и потому проиграл.

— Я в другой раз «носом», самым краешком,—пообещал Карысь,—тогда посмотрим.

— Мне всегда нравилось,—улыбнулся отец,—что ты не любишь хвастаться, как другие мальчишки. Это—качество настоящего мужчины.

Карысь завозился, засопел, одним махом выпил свой чай, осторожно спрятав кусок недоеденного бутерброда за кружкой, полез из-за стола.

— Конечно,—сказал он,—если мне попадется хорошее яйцо.

Отец отвязал Серка, потуже затянул подпругу и, взявшись за луку седла, вставил ногу в стремя. Карысь, внимательно наблюдавший за ним, наконец решился:

— Па-а, мне на Амур сходить можно?—Из-за волнения голос у Карыся получился суховатым, с хрипотцой.

Отец легко взлетел на Серка, нашел второе стремя и, одной рукой удерживая поводьями лошадей, второй надвинул Карысю шапку на глаза.

— Можно, Карысь,—весело сказал отец,—тебе пока что все можно, кроме одного: пожалуйста, не ходи на лед. Иначе нам с тобой здорово влетит от мамы. Договорились?

**Вячеслав СУКАЧЕВ,**  
участник  
VI Всесоюзного совещания  
молодых писателей,  
Хабаровск



Рисунок Владимира Делбы.

— Договорились,—вяло откликнулся Карысь, сдвинув шапку на затылок.—А если с самого краешка?

Серко не хотел стоять на месте, он то пятился, то боком гарцевал по двору, и Карысю приходилось ходить следом за ним. Но вот отец перекинул через плечо сумку с красным крестом, поправил фуражку и скомандовал:

— Открывай!

Карысь поднял щеколду и, немного поднатужившись, открыл воротца и, встав за ними, обижено надул губы. Раньше бы он обязательно взглянул, как, низко пригнувшись, припав к шее лошади, выезжает в воротца отец, но теперь...

— Если только с самого края,—высоко над Карысем сказал отец,—там, где воробью по колено. Знаешь?

— Зна-аю,—освобожденно выкрикнул Карысь,—я вот, честное пионерское...

— Ну-ну, пионер,—усмехнулся отец и ускакал.

Карысь закрыл воротца, облегченно вздохнул, с разбегу перепрыгнул лужу и через огород помчался к реке.

Почти всюду снег уже растаял. На высоких местах, где было сухо и открыто для солнца, сквозь землю прорвались первые зеленые бычки. Они были удивительно тонкими и беззащитными среди желтоватой скудости прошлогодней травы, но с каждым днем их становилось все больше, и нельзя было не радоваться этому ярко-зеленому румянцу, привольно и безостановочно разливающемуся по земле. А вот в низких местах, под деревьями и плетнями, снег еще лежал, грязный, ноздреватый, избитый солнцем и теплыми ветрами. От этих одиноких сугробов тянулись такие же одинокие и безрадостные ручьи, которые, как ни вихляли, как ни бросались из одной стороны в другую, сходились

все же вместе в глубоком глинистом овраге. И здесь, в овраге, круто падавшем в Амур, ручьи превращались в ручей-богатырь, который шумел и ярился, как самая настоящая река, и даже имел свой собственный водопад. И именно здесь, у водопада, Карысь заметил Ваську, Кольку и Райку. Собравшись в кружок, почти сомкнувшись головами, что-то такое они там делали, присев на корточки и ничего вокруг не замечая.

— Э-эй!—сверху закричал Карысь.—Вы че там?

Они медленно повернулись, посмотрели чуток на Карыся и опять занялись своим делом.

— Айда на Аму-ур!—уже потише крикнул Карысь, тогда как ноги сами собой понесли его в овраг.

— Что кричишь как полоумный?—зашипела на него Райка, и Карысь, удивленный тем, что Васька пустил ее в свою компанию, теперь был сражен окончательно. Он даже не нашелся, что ответить Райке, а лишь открыл рот и растерянно оглянулся, словно бы Райка шипела на кого-то там, за спиной.

— Вишь,—гордо провозгласил Колька,—мельницу пробуем. Я сам придумал.

Карысь присел на корточки, сосопел, повозился и наконец протиснулся между Васькой и Колькой Корниловым. То, что он увидел, сильно разочаровало его: мельницей оказалась пустая катушка из-под ниток с двумя лопаточками-лопастями, воткнутыми в середину барабана. Штукуению эту Васька надел на спицу и теперь старательно укреплял ее на щепках-столбиках под водопадом. Правда, катушка крутилась, сверкали в весенних лучах радужные брызги, водопад солидно шумел, но все это никак не стоило того, ради чего Карысь вырвался из дома.

— Подумаешь, мельницу нашли,—поднялся Карысь,—обыкновенная катушка. У меня таких целых двадцать штук.

— Ну и иди к своим катушкам!—Райка высунула язык.—Никто тебя сюда и не звал.

Очень удобно было дернуть Райку за косичку, только руку протяни, но Карысь сдержался и молча покарабкался из оврага.

Забереги тронулись, наверное, еще ночью, потому что были к приходу Карыся довольно широкими, тут и там усеянными большими и малыми льдинками. Карысь легко представил, как гремел и ломался ночью лед, выползал на берег, вставал на дыбы и с тихим звоном рассыпался на тысячи сверкающих брусочков. Он мог все это представить потому, что лед прошлой весной тронулся днем, и они с отцом ходили смотреть, как «дерутся и топятся» льдины. Теперь же тихо было кругом, и лишь изредка доносилось смутное шуршание. Это от основного ледяного поля отламывались льдины и медленно дрейфовали к утесу, разворачиваясь и задевая друг друга.

Карысь долго смотрел на проплывающие мимо льдины, и на каждой из них ему хотелось отправиться в опасное и тяжелое путешествие. Куда именно могла бы увести его льдина, Карысь не знал, ему представлялось что-то смутное, расплывчатое, обязательно огромное и обязательно белое.

Карысь не заметил, как очутился у самой воды. Медленно вышагивая вдоль берега, он неожиданно наткнулся на льдину, длинным, острым концом выползшую на землю. Карысь немного подумал и уже собирался обойти ее, как вдруг увидел, что льдина часто и мелко дрожит под напором течения и вот-вот сдвинется с места. Карысь подумал еще и легонько тронул ее. Льдина дрогнула, но удержалась на воду, утонули, но, тут же выплывнув, медленно поплыли по грязно-серой воде. Возможно, этим бы все и закончилось, не раздайся за спиной у Карыся презрительный Васькин голос:

— Что, слабо одному-то?

Карысь вздрогнул, оглянулся и уже изо всех сил толкнул льдину. Она качнулась, неожиданно легко обломилась острым концом и, просев в воде, начала неторопливо разворачиваться. Карысь заворочено следил за льдиной, чувствуя какую-то странную слабость и решимость одновременно. Два эти полярных чувства боролись в нем до той поры, пока Карысь не оглянулся еще раз: Васька, Колька и Райка во все глаза смотрели на него.

«А вот и не страшно!» — успел восторженно подумать Карысь и уже в следующее мгновение оказался на льдине. Она перекосилась под ним, стала убежать из-под ног, и лишь в самый последний момент Карысь догадался переступить ближе к центру. Льдина выпрорилась, черпанула одним боком, другим стала мягко удаляться от берега. «А вот и не боюсь», — уже менее восторженно повторил про себя Карысь, — «ни капельки».

Широко расставив ноги, в распахнутой курточке, с развевающимися за спиной шарфом, Карысь отчаянно стоял на льдине, с затаенным страхом наблюдая за тем, как плавно поворачивается и удаляется от него берег, как по этому берегу бегут и машут руками три маленькие фигурки и как постепенно показываются над высоким берегом дома его родной деревушки. Почему-то именно в эти минуты вспомнились Карысю душные запахи сена, конского пота и дыма от горячей картофельной ботвы. Почему именно они, эти запахи, какая тут могла быть связь, Карысь не знал, да и попросту не задумывался над этим. Ему стало холодно и страшно. Хотелось сесть и заплакать. Но под ногами была вода, сбоку вода. И всюду была вода. Карысю казалось, что он уже всю жизнь вот так вот и плывет куда-то на льдине, в мокрых валенках с бесполезными сейчас калошами, дрожащий от холода и страха.

Карысь не видел, что его льдина самую малость не дотянулась до стержневого течения и, попав за утесом в улов, медленно поплыла навстречу каменному гиганту. Заметил он это лишь в тот момент, когда до утеса оставалось метров восемь и расстояние все продолжало сокращаться. Карысь растерялся: на льдине страшно, но прыгать в мутную, холодную воду еще страшнее.

— Держи-и-и! — услышал Карысь срывающийся Васькин голос. — Сейчас брошу.

В воздухе что-то мелькнуло и, обдав Карыся брызгами, упало у его ног. Карысь невольно понятился и чуть было не опрокинул льдину.

— Гроби-и, дура-ак! — надрывался на берегу Васька. — Она сейчас опять на глыбу пойдет!

Карысь догадался и, схватив доску, брошенную ему Васькой, изо всех сил принялся грести. Он не видел, как в такт его гребкам приседал и мучительно гримасничал на берегу Васька, как всхлипывала и боязливо утирала глаза рукавом Райка и как круглыми остановившимися глазами следил за ним Колька.

Ничего этого Карысь не видел, отчаянно и упорно гребя доской, первый раз в жизни самостоятельно уходя от чего-то огромного и белого, что будет манить и звать его всю жизнь...

# УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА!

## Конференции, фестивали, семинары

VII Всесоюзному совещанию, как, впрочем, и прошлым, предшествовали различного рода республиканские, зональные и областные совещания молодых литераторов.

В Ленинграде, например, прошла XIV конференция молодых литераторов Северо-Запада. Четырнадцатилетним Осколиным молодым одаренным авторам помогли эти конференции самоопределились, выразиться в публикации: в Ленинграде регулярно проводится День молодых литераторов, в который, помимо семинарских занятий, проходит встреча с мастерами литературы. Идут систематические занятия в 30 литературных объединениях города. Проводятся тридцатичасовые семинары и конкурсы творчества молодых под девизом: «Наш современник». «Молодость, мастерство, современность».

Накануне Всесоюзного совещания молодые писатели Таджикистана собрались на свою XXVI конференцию. Первая такая конференция была проведена еще в 1965 году. Чуть ли не все ее участники были фронтовиками. Многие из них теперь — признанные писатели, принимавшие участие в работе конференций уже в качестве руководителей семинаров.

Кроме всесоюзных, республиканских, зональных совещаний, комсомол и Союз писателей регулярно проводят Всесоюзные фестивали молодых поэтов. Они проходят ежегодно, каждый раз в одной из союзных республик, и привлекают многочисленные аудитории, перемещающиеся в области культурного обмена, становящиеся школой для поэтов и любителей поэзии. Их прошло десять. Десятым был и Питави в июле 1978 года.

И в самых разнообразных формах идет работа с молодыми литераторами на Украине. В Киеве развернута широкая деятельность и распространена ее на всю республику Кабинетом молодого автора, руководимым видными писателями. Десять центров творческой консультации и встреч. Отсюда молодые таланты получают путевки на страницы литературных журналов, республиканских и областных молодежных газет. При газетах существуют литературные объединения. Учреждены областные комсомольские литературные приемы.

Систематическую работу с молодыми ведут Союз писателей и ЦК ВЛКСМ Молдавии. Созданный ими Совет творческой молодежи координирует работу многокочленых литературных объединений, организует поездки молодых на стройки, газетские семинары, направляет деятельность литературных клубов («Мирские») и клубов минималов, активно участвует в деятельности «Луминери» («Солнце») — тридцати ольговым книжным магазинам, ставших очагами подлинной культуры в молдавском селе.

Республиканский клуб молодых писателей создан по инициативе ЦК ВЛКСМ и СП Азербайджана. Председателем правления клуба — секретаря правления Союза писателей республики Джабир Новруз.

Большая работа с молодыми литераторами ведется студенческой писательской организацией. Много лет при ней и ИГК ВЛКСМ действует литературная студия. В отдалении от многодневных одновременных слотов, семинаров, дней и недель литературы, во время которых знакомство с рукописями бывает нередко поспешным, а их авторов забывают до следующего слота или семинара, в студии занятия проводятся регулярно круглый год. Слушателями ее становятся после творческого конкурса.

В студии — 11 творческих мастерских. Каждой руководит опытный писатель, побавляет и учитывает работать с литературным молодым.

При творческом объединении драматургов работает десять мастерских и театр молодого драматурга.

## Редакции по работе с молодыми

При центральных издательствах созданы редакции по работе с молодыми авторами. Плодотворна деятельность такой редакции при издательстве «Молдая гвардия». Каждый год издательство печатает произведения 120—150 молодых литераторов. Регулярно выходит в свет специальный сборник первых книг «Молодые голоса». «Молодые писатели» и другие. Издательство учредило две ежегодные премии молодым писателям за лучшую книгу в прозе и поэзии, что, в свою очередь, стимулирует творчество молодых.

Такие редакции по работе с молодыми литераторами функционируют при «Советском писателе», «Детской литературе», при Союзе писателей СССР и издательствах «Советский писатель». много лет ведет большую работу литературная консультация СП СССР. Для характеристики этой работы приведем несколько цифр: 6254 рукописи поступило в Литконсультацию правления СП СССР в период между V и VI съездами Союза писателей СССР. Свыше шести тысяч — за время с 1976 по 1978 год. Все они были тщательно отрецензированы, лучшие направлены в журналы и издательства, потом опубликованы.

## Литературные объединения

Формы творческой учебы молодых литераторов разнообразны. Одна из самых распространенных — литературные объединения на предприятиях, при учебных заведениях, при редакциях газет. В стране их свыше десяти тысяч, в Москве свыше сотни. «Вальсера» на заводе «Сар» в иркутской — старейшее. Оно существует более пятидесяти лет. Его основали пролетарские писатели Н. Лискин и В. Бахматов. Учителями рабочих литераторов в разное время были А. Сарафимович, Н. Асеев, А. Жаров, И. Уткин, А. Сурков, Я. Смелков.

Я. Смелков писал о «Вальсера» — «Литературное объединение — название это, если подумать, весьма значительное. В самом деле, мыслимо ли было что-либо подобное в мирных условиях существования и в американском заводе? Нет, потому что возникновение и деятельность литературных объединений в рабочем коллективе — это труд социальности, это черта нового мира, одно из свидетельств сближения границ между трудом физическим и трудом умственным».

В реде «Вальсера» выросло 12 профессиональных литераторов, в том числе такие, как поэт Я. Шведов и драматург М. Родян.

Много лет при газете «Московский автозавод» (завод имени Лихачева) действует литобъединение, насчитывающее свыше 30 человек. Перед рабочими-литераторами выступали А. Фадеев, А. Новиков-Прибой, П. Антокольский, А. Жаров и другие известные художники слова. Литобъединение возглавляло писатель Х. Мату, М. Ганну, А. Марков, А. Полищук, В. Предвела — нынешний руководитель объединения.

Важнейшая черта деятельности этих объединений — тесная содружественность молодых литераторов с опытным писателями. В редакции многотиражной газеты «Ильичевец» есть досрочные семинары — настоящие школы. Однажды ее подарили заводским литераторам Юрием Либедиком, многолетним наставником и руководителем заводского литобъединения. При свете этой лампы занималось несколько поколений заводских авторов под руководством Юрия Либедикова, Лидии Либедиковой, Валеры Галани. Нет ни одного занятия в литобъединении «Высота», созданном при журнале «Советские профессеры», в котором бы не участвовали писатели старшего поколения. Формы содружества и писательской помощи молодым самым разнообразны. Это личные консультации, конкретный разбор произведений на семинарах, обсуждения, редактирование произведений молодых, творческие командировки по стране, публикации подборки стихов и других работ с дружескими инициативными известиями писателями, обмен опытом с другими литобъединениями. В руководстве семинарами «Высота» принимали участие В. Коротков, А. Водосвояцкий, С. Антонов, В. Попов, М. Лисинский, А. Филатов, Л. Овсов и другие известные прозаики и поэты.

## Творческий тандем

Щедрость мастеров слова над молодыми многолика: литературные кружки, студии, объединения, которые густой сетью покрыли всю нашу страну — от Бреста до Магдана, от Мурманска до Еревана.

Но есть еще один вид помощи мастеров литературы начинающим на нелегкую дорожку художественного творчества. Это — индивидуальное шефство.

Налерное, нет такого опытного художника, который не видел бы на литературную дорожку нескольких молодых. «В добрый путь» — такие подборки стихов или коротких рассказов со вступительным словом известного литератора систематически мы встречаем в журналах и газетах, в сборниках.

Вот пример — первый шаг прозвучал из Бурятии Михаила Жигжигалова, охотника по профессии, заинтересовался Владимир Тендриков: «Вот уже целый год мы работаем над рукописью моего друга — поделился Владимир Федорович на страницах «Литературной газеты» опытом творческого наставничества. — Я вдруг понял, что здесь возникает новая форма издательских практик, этакий своеобразный творческий тандем. И в заключение: «Душа, что этот принцип сочетания двух творческих начал нужно судить правдиво. Когда и «конулся» в эту работу, то вдруг понял, что неслышно растет, крикнет, дышит, что для талантливого опыта, с каждой новой строкой и с каждой новой главой наставник, опытный, интересующийся писатель. И я как бы прирастал к этому росту».

Большая, многолетняя дружба связывала нашего старшего поэта Станислава Щипачева с Флором Васильевичем, Станислав Щипачев направил творческие газетские шаги признанного удмуртского поэта, безмерно уважаемого недавно на жизни Николаю Тихонову своим творческим ростом, своим всеобщим признанием обязана многим грузинским, албанским, джарикским, туркменским поэтам.

Эти примеры можно привести многократно.

Материал подготовил  
Михаил ПЕВЗNER.

«...Непамятливых памятью не мучай,  
А помнящим зоть час забвенья дай».

Алексей ПРАСОЛОВ

**М**окро, снежно было, когда я провожал в последний путь своего старшего друга, и все повторялась и повторялась в моей голове поговорка кафров, которые, прощаясь, говорят: «Отныне у каждого из нас будет одним другом меньше».

Я давно заметил, как хоронят славного, доброго человека, испортится погода, метет, крутит—не то скорбит природа, не то она хочет, чтобы похороны были трудными, надолго запомнились бы и помаяли душу остающихся жить.

Мокро, снежно и сейчас, когда я начинаю писать о покойном друге, не решаюсь поставить слово «воспоминания». Никогда и никаких воспоминаний я не писал, точнее, таких вот скорбных воспоминаний, когда надо ставить: «был», «жил», «говорил», потому как ни память, ни сердце не мирятся с утратой, и кажется, что может произойти чудо—на заснеженной дороге появится моя маленькая жена с огромным рюкзаком на спине, принесет хлеба, почту, и, быстро перебрав письма, я найду конверт, на котором ученической ручкой будет написан полностью—обязательно полностью!—обратный московский адрес, и в уголке конверта как-то застенчиво и скромно будет стоять знакомая фамилия. И я прочту письмо обязательно большое, обязательно с юмором, обязательно теплое и умное, написанное бегучим и в то же время будто бы ученическим, аккуратным почерком...

Но дует ветер, хлещет мокрый снег—пришел циклон откуда-то с востока, а вчера и позавчера он дул с севера—никакие циклоны не минуют Урал, они, как беды, все вокруг него кружат, все по нему дуют и шарят, и весна никак не может наступить, а уже начало апреля.

Сидю я в деревушке Быковке, посредине Урала, в избушке, занесенной до застрехи, смотрю на дома с дымом. Безлюдье-то какое!

Сидю я в этой деревне, где бывал накоротке мой друг, и так ему тут все поглянулось, что мечтал он приехать сюда еще раз и на большой срок, подышать тишиной, мечтал побродить по лесам окрестным, насладиться и поработать в уединении.

Не довелось ему еще раз побывать в моей Быковке. Недосмотрел, недоработал, недожил, не отдохнул, отправился туда, где «нет ни снов, ни стонов, ни болезней, ни скорби, а жизнь бесконечна».

Как все-таки несправедливо устроена эта самая, наша, «не бесконечная» жизнь. Сколько бесполезных, никому не нужных людей живет на свете: недоумков, хамов, убийц, воров, дармоедов, рвачей—а хорошего человека вот наша смерть, измучила болезнью, иссушила в нем соки, истерзала страданием и убила! Неужто это по-божески?—святой должен страдать за грешных, и грешные, видя муки святого, должны терзаться и обретать его облик? Но что-то много страдают мученики, и мало действуют их страдания на человеческий мусор. Он чем был, тем и остался...

С чего же и как все-таки начинать?

Пожалуй, обычно, со знакомства. И не стану я бояться обыкновенных, простых слов. Ведь он был (был!—как все-таки нелепо это!)—обыкновенным и необыкновенным простым человеком. С этого и знакомство наше началось. Этим он и покорила меня, это и сдружило нас.

Я учился на Высших литературных курсах в Москве и однажды, выйдя на перерыв покурить, увидел среди оживленно и даже возбужденно беседующих курсантов с поэтического семинара очень смуглого, мягкогубого человека с пронизательными и живыми глазами. Он торопливо курил папиросу и говорил одному из курсантов:

— Ну зачем это тебе, зачем? Ты же не прокламацию пишешь, а стихи!

Поэт хмуро и упрямо что-то возражал. Смуглый человек дотянул папироску, поискал глазами урну, швырнул в нее окурок и, как-то разом опечалившись, сказал как бы уже сам себе, а не поэтам, курившим табак с ним вместе:

— И вообще крики в литературе, битие себя в грудь и заверение в том, что ты вот любишь Родину, а другие вроде бы уже и не любят ее и не умеют любить,— отвратительная черта! Ее не было ни в какой литературе, в прежней, русской тем более. И вам не надо бы вовсе лезть в московскую кашу, время только и нервы потратите, а вам надобно учиться, во многом разобраться... Ну, пойдемте в аудиторию, там продолжим. Звонок был.—Он как-то тепло и чуть виновато улыбнулся, дескать, вообще-то все это слова, слова.

— Кто это?—спросил я у одного из наших сокурсников.

— Макаров. Семинар поэтический ведет. Мировой мужик!

Не знаю, свела ли бы нас судьба с Александром Николаевичем Макаровым, не услышав я этого юридического разговора. Я уже заканчивал курсы, успел осмотреться в Москве и обколотить с себя немножко периферийной штукатурки. Среди всего прочего успел я заметить и эту самую «отвратительную черту» в характере иных, как правило, бездарных столичных писателей. Поглядишь, слушаешь иного деятеля—парнишка как парнишка, стиснута пишет так себе, книжки его шумны, брошки, но нет в них еще никакого основания провозглашать себя витией. Ан нет, все повадки, вся осанка, весь напор о том говорят. А еще, узнавши, что перед ним провинциал, он и вовсе начинает не говорить, а вещать, провозглашая: «Вы там сидите, а мы тут боремся...»

Я мог бы назвать десятки «провинциалов», на которых «борцы» сии подействовали и действуют самым наихудшим образом. Наслушается такой вот периферийщик «борцов» и тоже начинает рубаху на себе рвать и пуп царапать, выдавая скващенные в столице верхушки за открытия и единственную истину, утрачивая при этом свой дар, попускаясь убеждениями своими, думая, что они пустяковые и сам он никто, а вот там, в столице... Очень и очень умеют и любят иные столичные крикуны внушить, что ты сир, отстал и вообще с суконным рылом забрался в калашный ряд.

Нет бескорыстных витий, особенно в литературе. Бескорыстные, как правило, талантливы, и им кричать не надо, за них говорят стихи, книги, перо—словом, их уединенный, тяжкий труд, а в тяжком труде не до суеты и шуток.

Несколько раз еще я видел на курсах Александра Николаевича и всегда старался быть поближе к поэтам, с которыми он разговаривал. Держался он с ними по-товарищески просто и сам был предельно прост, а я уже знал, что был он и редактором журнала и зам. редактора «Литгазеты», что член он многих органов, что и критик он не последнего десятка.

Мне хотелось познакомиться с ним, поговорить, но... но в детстве, где я жил в детстве, работал одно время заведующим Василий Иванович Соколов, старый, образованный человек, и среди немногого, что вколотил он в меня, закрепилось во мне две морали: навязчивость—одна из самых отвратительных черт в характере человека. а обязательность—одна из самых хороших...

Словом, не решился я подойти к Александру Николаевичу и поговорить с ним, а забыть его почему-то не мог и спустя много уже времени после курсов взял и отправил ему только что вышедшую в «Молодой гвардии» книгу повестей и рассказов «Звездопад».

Не знал я тогда, как он загружен и как много посылают ему книг с надеждою, что он прочтет и напишет отклик. Я не думал ни о каком отклике и подпись на книге сделал ни к чему не обязывающую, и это-то как раз и послужило, как со смехом рассказывал потом Александр Николаевич, тому, что захотелось ему прочесть книгу, неизвестно откуда и кем посланную.

А когда он прочитывал книгу и она ему нравилась, Александр Николаевич обязательно находил время сказать добрые слова автору. На плохие книги он редко откликался, махал на них рукою,—много их, плохих-то, говорил,—все «не охватишь»!

Вот что писал он мне в своем первом письме:

«Уважаемый Виктор Петрович!

Большое спасибо Вам за книжку и, право же, незаслуженную подпись. Вы простите, что отвечаю Вам чуть не через полгода. Но писать просто благодарственное письмо не хотелось, пока не прочел книжки. А тут подошло лето, уехал в деревню и в сборах да впопыхах книжку оставил на столе. Книгу-то я нашел и в нашей районной библиотеке, да адрес-то оставил дома.

Так велик поток книг, что прочесть все не успеваешь и за этим «всем» часто пропускаешь и самое необходимое. Прочесть Вас еще в апреле, до получения книжки, мне советовал И. Л. Гринберг и очень Вас нахваливал, но как-то несколько общо. А вы ведь поразительно «свойский», круто поселенный. Читал я Вас с наслаждением, вдыхая запахи пряные и смолистые, любясь людскими узловатыми характерами, экзотической силой жизни, так и бьющей русскими, обжигающими родниками. Многое мне напомнило мое детство и своих мужиков; знакомый быт, хотя у нас, не в Сибири, все это не столь густо, опреснено, более акварельно, что ли.

Аннотация к Вашей книге ужасна. Я вспомнил сердитые слова Сергея Антонова, который однажды, обозлившись, сказал, что удивляется способности критиков вышлелушивать из произведений идею. Вот и тут вышлелушили, вернее, даже вышлелушили. И эка чему обрадовались: «село не нынче-завтра будет снесено». А вот как снести в душах-то, что Вы так безжалостно обнажаете в Ваших Амосах, Иисусиках, как их возвысить до Культышей и Летяг? Хотя, признаюсь, Культыш—герой не моего романа. Летяга—вот это да! Может быть, потому, что Культышей мне встречать в жизни как-то не приходилось. Он уж слишком судьбою индивидуален и немного благостен. Я же всю жизнь питал расположение и даже любовь к натурам озороватым, умеющим настоять на своем. И почему-то Вы мне кажется таким, особенно по «Звездопаду», где Вы меня так настроили на благополучный или хотя бы театральный (вдруг ее убили) конец, что от Вашей правды мне выругаться захотелось. Ну что Вам, право, стоило помирить их или разлучить так с музыкой, а Вы вдруг взяли и написали как в жизни. И потому и хочется ругаться, и грустно, и, наверное, уже никогда не забудешь этого Вашего юношу. Все мы, наверное, носим в душе нечто несовершенное, что и есть самое-то дорогое.

Хороший в Вас растет писатель, характеры у Ваших героев свиловатые, столкновения и сшибки между ними по-мужички крепкие, и ни в чем, ни в репликах, ни в передаче состояния ни разу не ощутил я неловкости, фальши, неверной ноты. Уж на что «Солдат и мать», а веришь в мать безоговорочно. Слаба—впрочем, не то это слово—анемичнее других у Вас Лида в «Звездопаде». Здесь даже в одной реплике, мне думается, Вы сфальшивили. На стр. 237 внизу, и реплика меня покорила, и слова и интонация какие-то старушечьи. Случай такой, что она могла не найти слов и верной интонации, но все же это не те слова, не были бы этими. Впрочем, это пустяк, пожалуй, единственное, что мне показало огрехом в Вами вспаханном поле.

Очень мне почему-то захотелось в Ваш Чусовой. Я вот бывал когда-то в Ваших краях, где-то поблизости, тогда еще на Березникхимстрое. Впрочем, настроил немного.

Желаю Вам счастья и новых книг. Черкните, если не поленились, что и когда и где у Вас будет. А то ведь за всем не уследишь. Мне хочется Вас почитать. Думал я, что в октябре мы увидимся на молодом совещании, а его перенесли на декабрь. А уж начали переносить, то до будущего года дотянут.

Ваш А. Макаров».

На этом работа над воспоминаниями застопорилась. Я пробовал еще писать, набрасывать куски, примерялся, прицеливался, маялся, испытывая давление со стороны супруги покойного и разных печатных органов, и никак не мог подступиться к материалу, «организовать» его в себе, что-то отбросить, что-то домыслить.

Прошло более десяти лет. Я пробую снова продолжить начатую работу. Получится ли?



# ПОСОХ

Писателя Виктора Астафьева и критика Александра Макарова связывали многолетняя дружба, творческое сотрудничество. Узнав, что «Смена» готовит специальный номер к VII Всесоюзному совещанию молодых писателей, Виктор Петрович передал нам свои воспоминания о безвременно ушедшем из жизни друге и наставнике.



Рисунки Геннадия НОВОЖИЛОВА

Жизнь состоит из встреч и разлук.

И встречи и разлуки бывают разные, как разные и люди, с которыми встречаешься и разлучаешься.

Судьба подарила мне счастье быть короткое время знакомым и дружбой связанным с Александром Николаевичем Макаровым. Он был старше меня во всех смыслах, он был мудр, деликатен, чист мыслями, и я в наших с ним отношениях никогда не чувствовал разницы в возрасте и подавляющего его превосходства в интеллектуальном развитии.

Мы дружили на равных, но это не мешало мне в то же время почтительно относиться к его трудным сединам, к его феноменальным познаниям. В наших отношениях младшего и старшего литератора и человека не было фамильярности, но было много теплоты и доверительности друг к другу.

Больше всего меня привлекало в Александре Николаевиче одно, бесценное по

нынешним временам качество — терпимое, выкованное годами трудной его жизни отношение к людям.

За все годы нашей дружбы он ни об одном — ни об одном! — человеке не сказал дурно, не унизил себя поношением и бранью в адрес того или иного литератора. Если человек был ему несимпатичен — он так и говорил, что человек этот ему несимпатичен, но никогда не навязывал мне своих симпатий и антипатий. Он доверял мне самому разобраться в людях, и рукописи, книги мои читая, тоже не был никогда категоричным в суждениях, а лишь тонко, мягко подводил меня к той или иной мысли и даже пускал как бы в «самостоятельное плавание», полагая, что и вам я уже не мальчик и, веруя, что, разбираясь сам в себе и в сложных вопросах жизни, литератор большему научится, и от многого избавится, и многое приобретет.

Да, встреча и дружба с Александром Николаевичем Макаровым осложнила мою писательскую работу. Я стал относиться к ней строже, ответственней и на себя смотреть критичней. И по сей час я каждую строку свою рассматриваю пронизательными глазами Александра Николаевича: выдержит ли она этот взгляд? Улыбчивый, чуть ироничный, как будто совершенно открытый, но с глубокой мыслью и отеческой заботой в глубине.

Я осиротел... Вторично осиротел в своей жизни: много лет назад потерял мать, а теперь вот отца-друга, отца-наставника, не назидательного, не резонера, не грузно нависшую надо мной «фигуру» старшего, а друга, от которого иногда просто хотелось дотронуться рукой и почувствовать, что он тут, он есть и к нему можно прийти с радостью и бедой и ничего не говорить о них, но выздороветь душой...

Я никак не привыкну к потере. Друг истинный и дружба истинная не умирают. И только сожалею я о том, что узнал Александра Николаевича поздно и мало виделся с ним оттого, что казалось, будет еще много встреч, много разговоров, много радостных дней доброго общения.

Когда встречаешь и любишь такого человека, как Александр Николаевич, мыслей о смерти не бывает, она если и пришла бы, то показалась бы чудовищно несправедливой, неестественной и абсурдной.

Смерть всегда застаёт сердечную дружбу и любовь врасплох, и оттого потрясает она на долгие годы! И оттого невозможно привыкнуть к ней и смириться с нею.

Я написал Александру Николаевичу письмо, в котором обращал его внимание на тех писателей, живущих на периферии, о которых, на мой взгляд, стоило бы поговорить глубоко, дабы «открыть» для широко читающей публики да и для критики тоже. В письме, помнится, я называл Евгения Носова, Юрия Гончарова, Константина Воробьева, Василия Шукшина, Ивана Панькина, Владимира Сапожникова, Василия Белова, Виктора Лихоносова, Анатолия Ткаченко, Аскольда Якубовского, Анатолия Знаменского, Виктора Потанина, Николая Воронова, Юрия Куранова, Леонида Пасенюка, Станислава Мелешина и еще поэтов — Алексея Прасолова, Леонида Решетникова, Михаила Асламова, Романа Солнцева, Михаила Воронцового. Список получился довольно внушительный, и Александр Николаевич посулился приехать еще и потому скорее на Урал, чтобы подробнее поговорить о всех перечисленных мною писателях, об их книгах, которые я знал и которые мог рекомендовать для прочтения.

«Вы тут насытете мне своих дружков-приятелей! До конца дней с ними не рассчитаться!» — посмеивался он. И уже серьезно добавлял: «А вообще-то это бесхозяйственность, безобразие! Такая серьезная литература вызревает в провинции, а мы на нее глазки закрываем, да что глазки?! Не знаем ни черта, и я не знал бы, кабы не вы...»

Понимая, сколь важное значение имеет попытка сделать такую большую и нужную работу, я всячески подбивал на нее Александра Николаевича, посылал и привозил ему книги и сам старался прочесть как можно больше книг своих периферийных товарищей, сокурсников по ВЛК и просто очно или заочно знакомых, почти неизвестных в ту пору писателей, как тот же Анатолий Ткаченко или Виктор Потанин.

Наконец, из Москвы пришло сообщение, что приезжаем тогда-то. Я жену подбок и скорее в деревню — подготовиться, подстрелить рябчиков, наловить рыбки, угоить избу. Дома строго-настроено наказываю дочери встретить Макаровых, выглядят они так-то, одеты в то-то, прилетят тогда-то.

И хотя дочь выросла в слава богу, не залитературенной, но все же в литературной семье, с нею произошел тот же казус, который мог произойти с любым человеком, именно стереотипное представление об артистах, писателях, тем более о критиках, да еще о критике, столь известном (папа не в счет, папа, он просто папа, и только иногда, в день торжества или недоразумений — писатель). Вот дочь и ожидала, что из самолета вывалится этакий двухметровый громада с тростью, в шляпе, в каком-нибудь манто и обязательно со вставными железными зубами, а уж жена у него и вовсе воображению не поддающееся создание. И по этой самой причине она ни малейшего внимания не обратила на невысокого, мулатски смуглого человека, одетого, если издали смотреть, в солдатский бушлат, в кепчонку, довольно поношенную, и на его уставую радиобеседами, домашними делами и перелетом измученную жену. Сделать объявление по радио у дочери толку не хватило, и, потолкавшись в аэропорту, она ринулась домой, куда через полчаса, раздраженные, готовые все бросить и вернуться обратно в столицу, свалились намотавшиеся по городу супруги Макаровы.

На пароход они в тот день опоздали, ночевали у нас, дочь, исправляя свою оплошность, угощала их и занимала, и в конце концов они вдосталь насмеялись и над собою и над нею тоже. А на завтра тепленьким, синим вечерком я встречал пароходик местной линии «Урал», еще издали увидел на носу стоящих;

подзащитившихся в толпе супругов Макаровых и сына моего с котомкой. Критик пытался напустить на лицо сердитое выражение, но мой кобелишка по имени Спирька так лаял и рыдал, приветствуя паромов и всех людей, сходящих с него по гибельно крутому трапу, что не выдержал суровый критик, и когда Спирька прыгнул на него и начал врать когтями пуговицы на его бушлате, как у ближней, самой дорогой родни, вовсе растаял. Спирька за преданность и требовалось-то всего ничего—кусочек сахара, сушка, пряник—он ничем не моргал и всякой подачке был рад и, получив просимое, еще долго, пока мы шли в гору, угадывая сентиментальные души приезжих людей, Спирька возвращался с полей и уже грязными лапами пытался поцарапать им животы, все попискивал и рыдал, выражая чувство восторга и самой что ни на есть активной приветливости.

Долго мы сидели в ту ночь за столом, у керосиновой лампы, а когда выгорел керосин, зажгли свечи—и не было конца разговорам и воспоминаниям. Как-то уж так получилось, что никто почти не касался литературных тем, и, отправляясь спать, Александр Николаевич удивленно произнес: «Да как же это возможно? Сидеть в деревенской избе, есть рябчиков, рыбный пирог, пить чай с душицей, есть рябиновое варенье и не говорить про литературу?! Не-ет, товарищи, так не бывает! Это все неправда, и я не поверю до тех пор в реальность происходящего, пока не попаду на речку с удочкой...»

Он еще долго не унимался, ворочался на раскладушке и в полной уже темноте читал и читал стихи.

Как он знал поэзию! Мне кажется, всю, какую возможно знать читающему человеку. Без разбора, в перескок—ранний Прокофьев и тут же Твардовский, Ахматова и Клюев, и Брюсов, и Есенин, и Тихонов, и Луговской, и Павел Васильев, и Кедрин, что-то из Гете, и тут же озорные, вольные ваганты, древние англичане и Дант.

«Сашенька, да спи ты, спи! Устал ведь!»—увещевала его жена, а он: «Вик Петрович! Марья Семеновна! Я вам еще не надоел?» «Да что вы!—пискнет Мария Семеновна, устремившаяся к печи и по дому.—Я могу слушать сколько угодно, вот только вы-то...» «Ну, еще Блока! Без Блока невозможно...»

И Александр Николаевич читал Блока, много читал, хорошо. Он его читал всегда и охотно и, узнав, что я плоховато знаю этого прекрасного поэта, подарил мне его двухтомник, который я и хранию до сих пор в пузе глаза.

Уж на утре утомонились мы и поднялись поздно, когда деревушка Быковка жила своей хотя и не ходкой, но полной жизнью.

На речку рыбачить мы в этот день не пошли, а сходили за грибами за ближние, местами еще не убранные поля. Я нет-нет да и отдалялся от гостей, супружница моя так и таскалась весь день за Александром Николаевичем, слушала его и наслушаться не могла. А он, найдя благодарного и терпеливого слушателя, ошеломил ее, и она, уже зная от меня о феноменальной памяти моего друга, все равно была потрясена и долго еще твердила да и по сию пору твердит: «Такого человека, с такой памятью, с таким знанием поэзии и всякой всячины не встретила и едва ли еще встречу...»

Я тоже не встречал и едва ли встречу, хотя до Александра Николаевича знал своего школьного учителя, а затем сибирского поэта Игнатия Рождественского, который в трезвом, особенно же в нетрезвом виде мог сутками читать стихи. Закурив близорукие глаза, откинется на спинку стула и, чуть дирижируя себе левой рукой, шарит, совершенно не интересуясь—слушают его или нет, да и читал он ровно был для себя, неразборчиво и даже будто сердито.

Александр Николаевич, кроме самих стихов, знал еще много доступного и недоступного о самих творцах поэзии, кроме того, знал, когда построена пирамида Хеопса, в каком году кто и где царствовал, где и когда упал тот или иной зарегистрированный метеорит, когда изобретена печатная машина и кто был в любовниках у императрицы Екатерины Второй, а также кто учил Рембрандта живописи и кто крикнули моряки, увидев берега Америки, когда произошло первое крещение на Руси и кто защищал тот или иной редут при обороне Севастополя, мимоходом, где-то и когда-то прочитанные трогательные и наивные надписи на могильных плитах, и часто повторял: «Ах ты, матушки мой!» Позднее я узнал от него же, что эта строчка из стихотворения Демьяна Бедного, поэзию которого Александр Николаевич знал довольно хорошо, ценил ее за народность, что не мешало ему иронично относиться к порой торопливым, неряшливым творениям старейшего советского поэта...

Мне иногда хотелось приподнять кепку на совсем не объемистой голове Александра Николаевича и заглянуть под нее—что там? Как устроено-то? По каким таким чертежам и законам? А под кепкой была обыкновенная чернявая, уже круто присоленная сединой голова, приставленная совсем не к богатерскому телу, но в теле этом—мне не раз предстоит еще убедиться—крепкие духовные устои, сильный мускул нравственности, чистое, хотя и страдающее сердце, часто страдающее от непонимания или бессилия и невозможности жить и работать так, как хотелось бы самому художнику.

Назавтра мы наконец-то выбрались на рыбалку. Нет, пожалуй, не выбрались, ведь выбираются из города—сперва на автобусе, затем на электричке, затем на пароме или «ракете», затем еще на чем-нибудь, после пешком километра три-четыре и—о, блаженство! О, счастье!—можно и удочку в воду закинуть!

В Быковке рыбалка начиналась за огородом, прямо от нашей бани, которая стояла в углу огорода, на склоне холма. К этой поре, правда, харюзка в речке Быковке осталось мало, и Борис Никандрович Назаровский, бывший главный редактор Пермского издательства, старый просмешник, как-то хлебав в нашей избе уху, сказал, показывая ложкой в окно: «Со временем на этой избушке появится мемориальная доска следующего содержания: «В речке Быковке водилась редкостная рыба хариус, последнего из которых выловил живший в этом доме защитник природы Астафьев.»

Но смех смехом, а нерестилица хариуса нарушила водохранилище. Осенью его, скапливающегося на ямках, нещадно вылавливали, загоняли в саки, да еще явились с какой-то химией «рыбаки». Хариус из тех рыб, что от любой ядовитой примеси может задохнуться на всем протяжении речки и даже реки, как это случилось в вологодской реке Кубене, на берегу которой я сейчас сижу в деревенской избе и пишу эти строки.

Наловил я тогда на ушку хариусов. У нас с женой было в верховьях речки постоянное кострище, и мы иногда после города или трудов праведных позволяли себе «выходной», уходили на целый день в лес, на речку, и пока я шарился по кустам, ловчась наловить харюзков в недоступных омутках и перекатах, жена разжигала костер, чистила картошку для ухи.

И на этот раз мужчины занимались добычей, женщины калякали да двигались вверх по речке, к кострищу. Александр Николаевич никак не удавалось поймать харюзка, и он все поругивался: «Ат, каналья! Изловлю ж я тебя, изловлю!...»

Речку я знал до каждого камешка и кустика, знал и рыбный омуток, где подмытая ива упала в воду вершиной, но не умерла, а еще пышнее, гуще

сделалась, и речка, огибая ее и проросшие со дна побегу, сделала большой крюк, вымыла яму в песке и гальке—и тут всегда, даже в зимнюю пору стояла стайка харюзков. И под другим бережком клубилась красноватая полоска мути—там, в затени, беззвучно втекал в Быковку ключик—кипун, сверху по кипуну трудились бобры, делая запасную потаенную плотину. Появилась на Быковке семья бобров всего два-три года назад, но понастроила уже много.

«Попробуй-ка здесь»,—посоветовал я гостю, и он, присев под зонтики пышно цветущих медвежьих пучек, меж карандашно заструженных осиновых пенечков, забросил удочку, а через минуту я услышал его восторженный возглас: «Пойма-ал! Пойма-таки! Знай нас, хализинских!»

Харюзок ему попался с карандашиком величиной, но юркая эта рыбешка так красива, так ловка в воде и хороша в ухе, что еще долго, пока мы шли к кострищу, Александр Николаевич прищелкивал язычком и говорил: «Вот утру я нос московским рыбакам! Вот утру! А что это, Вик Петрович, за пенечки такие аккуратные и на речке что-то вроде запруды?»

Когда я, невольно притишив голос, сообщил о таинственном поселении зверьков, Александр Николаевич аж просиял лицом: «Да что вы говорите?! Сохранились!»—и всю дорогу до кострища был оживлен, хотя и сильно устал. Но когда сидел у костерка, поел ушки, а ел он хорошо, бережно как-то, видно было, с детства приучен уважать пищу, да выпит был еще чеканчик под разговоры и закуску, оживился критик: «Ну что еще нужно человеку? Горы, леса, костерок у речки, котелочек ушки на четверых—и вот и все, более ничего не требуется для покоя и счастья. А мы суемтся, а мы суемтся! Вот после завтра уезжать. Почему? Зачем? Нет, Вик Петрович, хочешь не хочешь, а приеду, непременно приеду, на месяц, на два приеду, и не прогонись...»

Назавтра я читал в избушке только что написанную повесть «Где-то гремит война», еще «не обкатанную», еще недовыправленную. Слушали мои гости и хозяйка моя хорошо, повесть тронула их. Александр Николаевич даже сказал, что он о военном тыле что-то и не припомнит подобного.

Я нуждался в ту пору в поддержке, ибо жил и работал весьма одиноко, и вот получил ее, такую необходимую поддержку.

Денек побыли мои гости в городе, я им показал все, что достойно в Перми показыванию, и с грустью, которую Александр Николаевич считал за недомогание, проводил дорогих гостей обратно, домой, в столицу. И, ровно чувствуя, что никогда уж более ему не бывать на Урале, куда заносило его в юности житейскими ветрами, с неохотой, с душевной смутой покидал он пермскую землю, не досмотрев, не надыхавшись, не набродившись, даже не наговорившись «до отвала», и все грозился: «Ужо, ужо вот я соберусь, не рады будете...»

Письма, письма!.. Читаешь их десять лет спустя, а голос автора явно слышен. Весь он в них человек глубокомыслящий, страдающий, ироничный, застенчивый—их бы и без моих воспоминаний напечатать, все равно интересно было бы и поучительно, но меж письмами происходили дела и разговоры, как мне кажется, дополняющие переписку и как-то более если не глубоко, то хотя бы шире их представляющие.

Вот, например, статья о Чехове—это действительно великолепная, лучшая статья, по-моему, из всего написанного Макаровым. Но каково же было его потрясение, бредящего Чеховым, когда я заявил, что хотя статья мне и понравилась, а Чехова-то самого я не люблю и читаю мало.

«Да вы что?! Вы шутите». «Нет, не шучу, Александр Николаевич, я считаю его скучным, однообразным нытиком. Из пьес его приемлю только «Иванова», из которого и выросли все остальные его пьесы. Из прозы—«Степь», «Каштанку», «Ваньку Жукова» да «Человека в футляре». А все эти дамочки и молодые лоботрясы, восклицаящие «Хочу работать! Дайте мне работы!»,—надежны и неправдоподобны. Все его взлохмаченные, умно рассуждающие, пьющие доктора везде совершенно одинаковы; рассказ «Невеста», который вы и многие другие понимают шедевром, напишет нынешний средний писатель, а Гоша Семенов, Юра Казаков да Сережа Никитин—так еще и лучше.»

«Да как вы можете! Я вас прибию! Недоросль! Провинциал! О нем, о Чехове, эшелон литературы написан, им зачитываются во всем мире...»

«Знаю,—отвечал я.—Хорошо об этом знаю. Сомерсет Моэм в своих воспоминаниях говорит, что в двадцатых годах, кто не подражал Чехову, не принимался в Англии всерьез как писатель, особенно в новеллистике». «Вот-вот, а вы?!» «Что я? Что мне тут же и менять свое мнение, что ли? Толстому моему Шекспир не нравился...» «Так толстой!» «А я, значит, тонкий?»—съязвил я. «Ага, ага, без Чехова-то не можете, ага?.. Он, братец мой, уже в костях у нас, в крови, как известь, как железо, как эти самые—как их?—лейкоциты или гемоглобин, растворены. Без них и жизни нет!» «Подковали вас в больнице-то?» «Чего?» «Медицинскими терминами дуете...» «А Чехов доктором был и бесплатно бедных лечил, вот вам!» «А зачем он тогда бедного провинциального учителя высек, если он добрым был?» «Какого такого учителя? Что вы мне голову морочите?» «А вот какого!» И тут я достал заметку, припасенную мной специально для такого разговора. Заметка вырезана и прислана мне товарищем из Тульской области, из газеты «Заветы Ильича» города Кимова и называется она «Человек в футляре». Заметка настолько любопытна, что я приведу ее целиком.

«Подшивка донской газеты «Приазовский край» за 1903 год. В одном из февральских номеров читаем: «На днях сгорели инспектора Таганрогской мужской гимназии Александра Федоровича Дьяконова». Та самая гимназия, где учился А. П. Чехов, и тот самый инспектор! Да, да, прототип «Человека в футляре».

Чехову было о чем писать. Александр Федорович—зануда и скупердяй. О нем говорил весь город. Достаточно было гимназисту поклониться начальству или на слишком близком, или на слишком дальнем расстоянии, инспектор сажал его под арест. Достаточно было Александру Федоровичу встретить гимназиста на улице после захода солнца, как на другой день гимназист уже стоял перед инспектором. «Вчера вы шли по Петровской улице с видом искателя приключений, это, безусловно, безнравственно. Извольте сесть в карцер и выучить наизусть все гимназические правила!»

Он не разрешал гимназистам ходить в публичную библиотеку, потому что она имела безнравственное название.

Он состоял гласным Думы, но вся его деятельность выражалась лишь в одном—Дьяконов следил, чтобы его коллеги курили в курительной комнате, но отнюдь не в ретиреде. Человек этот владел сотней тысяч рублей и двумя большими домами, а сам обедал не каждый день, его сюртук, пальтишко и рубашка не менялись 20 лет; в его комнате был стол, два стула, кровать и больше ничего. Он никого не принимал—если к нему раздавался звонок, Александр Федорович выглядывал в дверь и сердито бросал: «Завтра в гимназии!»—и дверь снова захлопывалась.

Таким был инспектор Дьяконов. Сам просился в литературу.

Но когда он умер, то оказалось, что свои сто тысяч он завещал народному



учительству, а оба дома—под городское училище. По словам нотариуса, у которого хранилось завещание, Александр Федорович говорил: «Ну зачем деньги были нужны мне, одинокому человеку? Я мог прожить и без них. Я думал о бедном учителе. Сплошь и рядом большая семья, жена и за хозяйку, и за кухарку, и за горничную, и за няньку, да еще, поди, больная. Вот кому нужны-то деньги».

Все учительство вышло провожать Александра Федоровича в последний путь, вся таганрогская интеллигенция была на похоронах, чтобы снять шляпу перед этим человеком».

«Ну как?»—прищипал я примолкшего критика к стене.

«Опасный вы человек!—махнул на меня рукой Александр Николаевич,—опасный и коварный, а до Чехова вам еще расти да расти. На старости лет еще плакать будете над его страницами и у меня извинения просить, целуя вот сюда»,—показал он на маковку.

А далее говорили уже без шуток и не только о мировосприятии художника, но и о формировании его характера и вкуса. Не моя вина, а беда в том, что я, допустим, равнодушно воспринимаю архитектуру, в том числе и древнюю, ничего не понимаю ни в церквях, ни в монастырях, ни в росписях, ни в иконах. Смотрю их и слушаю о них, но не нахожу того высокого волнующего искусства, которое заключено в творениях Дионисия, Рублева, хотя охотно верю, что присидевшие перед ними с благоговейным придыханием, переходящим на шепот, искусствоведы совершенно, очевидно, правы, утверждая, что это не просто искусство, а величайшее из всех искусств.

Как говорил Достоевский, пусть и по другому поводу, но соответственно и применительно и к предмету моего рассуждения: «Есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, к которому принадлежите вы».

И где же мне, выросшему в полудиком сибирском селе, где была одна деревянная церковь, и ту сперва приспособили под пекарню, а потом и вовсе свели на дрова, раз или два бывавшему в городской церкви с бабушкой, пока непримиримо настроенные атеисты не рванули динамитом ее так, что во всех городских квартирах вокруг стекла в домах повывлетали, когда на моих глазах второй собор на нынешнем проспекте Сурикова куда только и как не приспособлявали, а в караульной часовенке на горе Караульной попросту опростылали и писали непристойности на стенах—где же и как мне было научиться восприятию мира в том виде и чувстве, как его «слышит» и «видит», допустим, художник Борис Горбунов, родившийся и выросший в городе Кириллове, возле стен монастыря, и с раннего детства, еще когда он, может, и говорить-то не мог, впитавший все это благолепие.

Естественно, что и в чтении я не мог «подбортнуться» к тихому Антону Павловичу, ибо рос на литературе сибиряков: Евгений Петров, Вячеслав Шишков, Лидия Сейфуллина, Всеволод Иванов; естественным путем пришел к Горькому; Бунина открыл для себя лишь в сорок лет, но не зависящим от меня причинам, сейчас вот кумир мой—Достоевский, начинаю серьезней вчитываться в Гоголя, Льва Толстого.

«Эстетический вкус и всякая прочая культура, Александр Николаевич, на голом месте не возникают. Как это там у товарища Менделеева? «Искать что-либо, хотя бы и грибов или теорию зависимости нельзя, не смотря и не пробуя». Ваше, кажется, любимое изречение?»

«Мое любимое? Да-да. А с вами, Вик Петрович, не заскучаешь!»—после долгого молчания, с грустной задумчивостью произнес Александр Николаевич.

Стоит обратить внимание, что ни в одном из писем Александр Николаевич не сделал мне упрека по языку, и когда я спрашивал его: «Не перебираю ли с этими самыми областными речениями?»—он говорил, что да, конечно, переборы местами есть, но они не очень «режут» слух и выглядят вполне естественно, во всяком случае, на его «деревенское ухо и взгляд вполне естественно». И потом, столько народу сейчас в нашей литературе «не добирает», что один «перебирающий» как-нибудь сойдет, «стерпится»,—посмеялся он. И я, что еще больше повеселить, рассказал о том, как дочка Анатолия Знаменского, того самого, который был однажды здесь и «заговорил» нас, утверждая, что мы еще встретимся не раз и наболтаемся, а ему такая возможность предоставляется редко, так вот дочка Знаменского, по имени Оля, вступающая в первый класс, дала нам «урок» языка.

Как и всякое современное, рано развитое дитя, Оля бегло читала уже до поступления в школу и «Букварь», ей купленный, тут же «проработала». И когда мы, сидя в комнате Знаменского в общежитии литинститута (литературных курсов), о чем-то горячо и громко заспорили, девочка остановила нашу полемику возгласом: «А я вот вам сейчас прочитаю из букваря и вы ничего-ничего не поймете!»

И девочка прочитала: «У Калиныча в хлеву завелся хорь. Калиныч поставил в хлеву капкан. Хорь попал в капкан». «Ну как? Ничего не поняли!»—почему-то радостно спросило дитя.

Мы и приутихли в горячем споре. В самом деле: каково-то ребенку? Городское дитя, она не знает слов: «Калиныч», «хлеву», «хорь», «капкан». Не знает не только слов, но и предметов, означенных в тексте, а ее заставят зубрить этот и подобные тексты. Потом она сама выйдет в учительши и вышлала уже, наверное) и тоже заставит кого-то зубрить, да не исключена возможность, что и люди, составлявшие «Букварь», тоже не знают многих слов и предметов, означенных в нем, ведь они тоже учились языку в городе, а грамоте—по таким же вот учебникам. Вот и получается поношение народного языка, особенно «диалектизм» и всяких там областных словечек с неперемной ссылкой на статью Горького против засорения литературного языка (думаю, будь Горький жив, он бы давно раскаялся в содеянном, ибо кому только не служила щитом или дубиной эта самая злополучная статья, ведь дело доходило до того, что в изданиях Детгиза вычеркивались: «Ванька, Санька»—как слова грубые, вульгарные, «деревенские», а слово «дурак» почиталось чуть ли не матерщинным, и от него редакторы валялись со стула в обморок...

Ханжество, презрительно-барское отношение ко всему «сермяжному»—это уже было и не раз в истории нашей, и партизаны российские во время далекой Отечественной войны 1812 года не одного дворянина российского, изъясняющегося только по-французски, но не умеющего говорить на родном языке, порубили в «котлету», как злодея—«мусью».

Жаль, что горькие и смешные уроки истории воспринимаются у нас как-то уж слишком легкомысленно и как-то замкнуто, а вопросы языка—как что-то отстоящее в стороне от главных вопросов жизни. Ох, заблуждение-то какое тяжкое и давнее!

Вот послушаем-ка, что говорил почти двести лет назад радетель и охранитель русского языка Владимир Даль: «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря: но из этого вовсе не следует, чтобы должно

было писать таким языком, какой мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на запад, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего, а из этого следует только, что у нас еще нет достаточно обработанного языка, и что он, не менее того, должен вырабатываться из языка народного. Другого, равного ему источника нет, а есть только еще притоки; если же мы в чаду обаяния, сами отсечем себе этот источник, то нас постигнет засуха, а мы вынуждены будем растить и питать свой родной язык чужими соками, как делают растения тунейные, или прищепой на чужом корню. Пусть же всяк своим умом рассудит, что из этого выйдет: мы отделимся вовсе от народа, разорвем последнюю с ним связь, мы исползем еще более в речи своей, отстав от одного берега и не пристав к другому; мы убьем и погубим последние нравственные силы свои в этой упорной борьбе с природой, и вечно будем тянуться за чужим, потому что у нас не станет ничего своего, ни даже своей самостоятельной речи, своего родного слова.

Не трудно подобрать несколько пошлых речей или поставить слово в такой связи и положении, что оно покажется смешным или пошлым, и спросить, отряхивая белые перчатки: этому ли нам учиться у народа? Но не гаерствуя, никак нельзя оспаривать самоистины, что живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, цельность и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи...»

Но послушаем современного идеолога «из оттуда» и, может, проникнемся страшной серьезностью того, что он проповедует:

«...все назначение состоит в том, чтобы сузить границы мысли. В конце концов мы сделаем преступление мысли буквально невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним и только одним словом с совершенно определенным значением, а все побочные понятия сотрутся и забудутся... С каждым годом все меньше и меньше слов и все уже и уже границы знания. Революция будет завершена, когда язык станет совершенным. Приходило ли вам в голову, что к 2050 году, самое позднее, не останется в живых ни одного человека, способного понять разговор, который мы сейчас ведем?»

Вот так напористо, «весомо и авторитетно», а главное, уверенно, с загадом в «историческую перспективу», рассуждает фашиствующий ученый, а у нас седовласые дяди, с учеными степенями, рубахи рвут друг на дружке, споря о том, что понятно или непонятно современному, особенно молодому читателю слово «кубыть» и как с этим «кубыть» быть? Включать его в словари только академические, чтоб не засорять им все остальные, или уж махнутой рукой на «чистую науку» и оставить в обиходе «кубыть», ведь у самого Шолохова встречается. И как же все-таки не надоест людям это самое «читатель не поймет». Сейчас есть категория людей, и немалая, которым слова: «лажа», «бормотуха», «сачковать», «хиппёж», «бич»—понятней и ближе, чем, скажем, такие древние слова, как «совесть» и «работа», так что же, писателям приседать перед ними: «Ах, вам непонятно? Простите!»

Шли годы, и мучила меня несделанная работа, угнетал «невьполненный» перед покойным другом долг, но я повторял, повторяю и не устану повторять завещанную нам древними мудрость: «Всему свой час...» И дождался этого «часа», более свободно и, надеюсь, не так поверхностно смог написать об Александре Николаевиче Макарове, хотя и памятью слова Горького о том, что: «...Говорить правду—это искусство сложнейшее из всех искусств, ибо в своем «чистом» виде не связано с интересами личности, групп, классов, правда совершенно неудобна для использования обывателя и неприемлема для него».

А это не для обывателя и пишется, а для тех, кто еще в состоянии понять, что любое слово лжи или умалчивания для дружбы и для памяти порядочного человека, который сам ее столько видел, пережил и так от нее страдал, что и умер, наверное, по этой причине рано, униженно.

Я не раз бывал в Быковке после, пробовал работать там, ездил туда уже и из Вологды, подо мной стоял на подмытом берегу, где потоптаны были купавы, вырваны марьяны коренья, проложены так и сик тропы, чернели язы кострищ; запруды новоселов-бобров были порушены, снесены, кипун, где они делали тайные квартиры, более не мутился, ибо высох. Ушли бобры куда-то так же тихо, незаметно, как и появились, а может, и перебили их туристы или присосавшиеся к этим местам хваткие пенсионеры,—стоял и думал о том, что жизнь, как ни разводи руками, движется, многим из тех, что я называл Александр Николаевичу для будущей книги «Во глубине России», перевалило за пятьдесят или приближается к этому последнему рубежу. Большинство из них работают достойно своего таланта, а есть и те, что замельтешили, засуетились или погрязли в сплетнях, спорах и уединились в гордом одиночестве; есть и такие, которых утомили собственные успехи и достижения, и они изменили самим себе, начали ударяться в моду, но самое главное, появились в России новые таланты, которыми можно и нужно гордиться, поддерживать их: Валентин Распутин, Василий Белов, Вячеслав Шугаев, Геннадий Машкин, Дмитрий Балашов, Владимир Личутин, Николай Кирсанов, Анатолий Соболев, Петр Краснов, Александр Филиппович, Николай Фотьев, Михаил Глубков, Вячеслав Сукачев, Анатолий Василевский, Василий Юровских, Николай Волокитин, Валентина Ермолова. По-новому свежо засияли таланты Гавриила Троепольского, Сергея Зальгина, Николая Шундика, Леонида Решетникова, Анатолия Жигулина, Михаила Воронцового, увы, и горькие страницы пролинула наша литература. Не взойдя еще в зенит, угадали яркие звезды Василия Шукшина, Николая Рубцова, Виктора Курочкина, Алексея Прасолова, Александра Вампилова.

...Течет речка, подмывает берега, спрямляет излучины, роняет кусты и деревья, опрыдывает и ворочает камни, падает с них, журчит и наговаривает в перекатах и шиверах. Как бы ее ни мучили, ни мучили, ни разбирали на поливку личных огородов и на обливание тел в знойные дни, сколько бы из нее ни шили, сколько бы ни вытаптывали, она справляет свою работу и за ночь успевают разрастись весь мусор, растереть грязь, унести муть и к утру высветляется до дна, течет и будет течь речка, пока живы родники, ее питающие, а они там где-то, в сумеречных оврагах, в распадках и росохах, недоступные пока, слава богу, праздно шатающимся, жрущим и орудим существам. Они тихи, те роднички, их голос слышен только привычному уху, но их освежающие струи пронзают темь и, сливаясь воедино, на свет вырываются живой, бурной, сияющей речкой.

Течет речка. Жизнь продолжается. Продолжается мысль и добрые дела людей, творящих и творивших добро во имя этой самой жизни. И в перекатном речном говорке мне слышится чуть картавенский, всегда веселый говор радетеля всего живого, заботника и работника родной литературы, хорошего человека, которых еще не устала рожать российская земля.



Рисунок Нурали ЛАТЫПОВА

Рисунок Игоря СУРОВЦЕВА



— Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,  
Расстаться настало нам время...



Рисунок Геннадия ЛИНЕВА



Рисунок Петра ВОСКРЕСЕНСКОГО

ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ

**21 ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА**  
**СМЕНИ**

(Продолжение. Начало см. в № 5).

**ВТОРОЙ ТУР**

**II**

**Белые**—Kpf8, Lh2, Ce4, Kd6, Ke6, pl.d2, f5.  
**Черные**—Krf6, pl.b5, d3, h3.  
Мат в три хода.

**III**

**Белые**—Krh1, Lh8, Ch8, Kg1, pl.c5, d7.  
**Черные**—Krh2, Fd8, Cg5, Ke1, p.c6.  
Белые начинают и делают ничью.

**IV**

**Белые**—Krg3, Ff2, Ce3, Kb5, pl.b4, c3, e5, f4, h3.  
**Черные**—Krh7, Fe4, Cd5, Ch6, pl.o4, e6, f5, h5.  
Ход черных. Каким образом они добиваются победы?

**V**

Ход черных. Как должна закончиться борьба при лучших действиях обоих соперников?

За правильный ответ на любое из пяти вышеприведенных заданий присуждается по четыре балла. Разбор каждой позиции со всеми необходимыми вариантами приводится в сокращенной нотации, без словесных комментариев на отдельной почтовой карточке (без конвертов). На лицевой стороне открытки вы аккуратно надписываете адреса редакции и отправителя, а слева сверху делаете пометку: «Шахматная олимпиада», второй тур». На оборотной стороне вы приводите суть ответа (решения), а сверху справа обязательно проставляете свой олимпиадный регистрационный номер, который редакция сообщит вам в марте—мае этого года.

Запомните, пожалуйста, что свои почтовые карточки на второй тур вы должны посылать в «Смену» в период с 25 апреля по 5 мая этого года.

Специальное задание второго тура—организовать и провести классификационные турниры любителей шахмат, которые пока не имеют никакого разряда. За выполнение этого задания участнику

олимпиады засчитывается десять баллов.

Такой турнир можно провести в любом коллективе (независимо от того, связаны ли вы с ним работой или учебной)—на предприятии или в учреждении, в колхозе или совхозе, в школе, профессионально-техническом училище, техникуме или вузе, на полярной станции или в воинской части и т. д.

Минимальное число новичков, которых поручается включить в турнир,—12. Можно организовать вместо этого два турнира, но не менее чем по 6 шахматистов в каждом. Не забудьте только, что если играющих от 6 до 10 человек, то встретиться друг с другом им надо не в одной, а в двух партиях. Организатору, не имеющему разряда по шахматам, предоставляется право самому играть в турнире.

По окончании турнира нужно начертить (на стандартном листе белой писчей бумаги) итоговую таблицу, где бывшие соперники располагаются не в порядке жеребьевки, а в зависимости от занятого места (при одинаковом количестве очков участников турнира вносят в таблицу результатов по алфавиту). Эту таблицу следует заверить подписями организатора турнира и руководства коллектива, в котором проводился турнир,

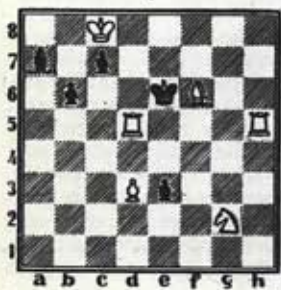
а также скрепить официальной печатью.

В случае, если кто-либо из играющих претендует на получение не четвертого (первичного), а третьего или второго разряда, то к таблице необходимо приложить записи сыгранных им партий данного турнира.

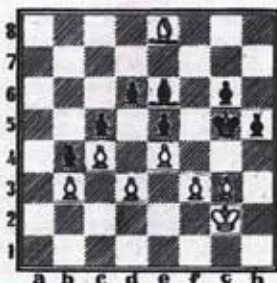
Всем участникам, выполнившим классификационные нормативы (как правило, 60 процентов от общего числа возможных очков), редакция вышлет соответствующие справки о присвоении спортивного разряда по шахматам.

Таблицу результатов (с записями партий или без них) вместе с краткими данными об участниках, сыгравших успешно, вы вкладываете в конверт и в период с 25 апреля по 5 июня этого года отправляете в адрес редакции. Свой олимпиадный номер вы четко указываете на конверте слева сверху под пометкой «Шахматная олимпиада «Смены», тур второй».

Группа читателей—лучших популяризаторов шахмат (тех участников нашей олимпиады, кто привлечет к турнирам наибольшее число новичков и хорошо проведет соревнование) будет отмечена вместе с призами олимпиады, о них мы расскажем в «Смене», когда опубликуем итоговый материал.



Мат в три хода.



СРЕДНО. ЗВУЧ.

# НОСИКИ — КУРНОСИКИ

Стихи Ангелины БУЛЫЧЕВОЙ. Музыка Бориса ЕМЕЛЬЯНОВА

*Наконец-то, полземли излазив,  
Крепким сном мои мальчишки спят.  
Сон свалил страну зеленоглазую,  
Спят мои сокровища чумазые,  
Носики-курносики спят.*

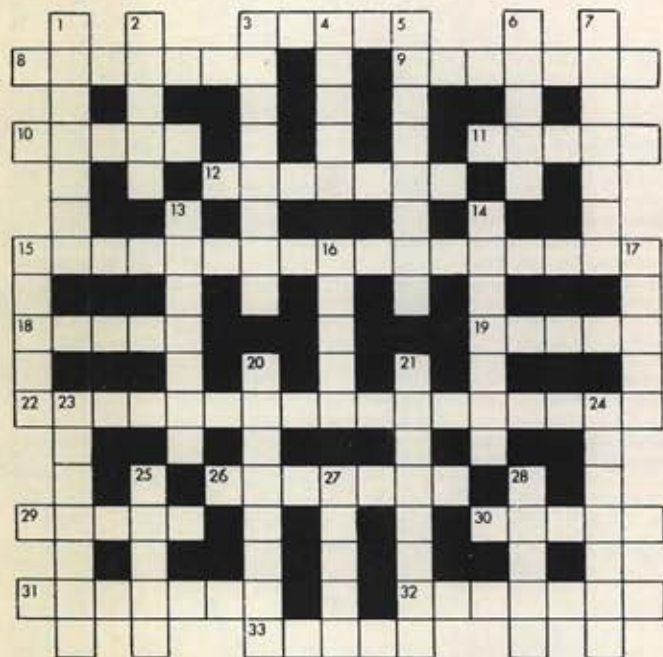
*Спят такие смиренные, хорошие,  
В целом мире лучше нет ребят.  
Одеяла на сторону сброшены,  
И зеленки яркие горошины  
На коленках содранных горят.*

*Ну, а завтра...  
Если б знать заранее,  
Сколь исповедимы их пути...  
Что им стоит так, без расписания,  
Улизнуть с урока рисования,  
В космос просто пешими уйти.*

*Быют часы усталыми ударами.  
На земле спокойные Дети спят.  
Спят мои отчаянные парни,  
Спят мои Титовы и Гагарины,  
Носики-курносики спят.*

## КРОССВОРД

Составил А. НОВИКОВ,  
Новгород



По горизонтали:

3. Дикий бык, обитающий в Северной Америке. 8. Певец, народный артист СССР. 9. Наиболее яркая звезда в созвездии Скорпиона. 10. Химический элемент, газ. 11. Советская футбольная команда. 12. Союзная советская республика. 15. Город в Ставропольском крае. 18. Горная антилопа. 19. Ежемесячный журнал Союза писателей СССР. 22. Отказ от личных интересов для общего блага. 26. Музыкальный темп. 29. Река в западной части СССР. 30. Газ; углеводород. 31. Специалист с высшим техническим образованием. 32. Домашняя птица семейства фазановых. 33. Река, впадающая в Черное море.

По вертикали:

1. Высокий женский голос. 2. Опера А. Г. Рубинштейна. 3. Город в Харьковской области. 4. Дикая африканская лошадь. 5. Роман И. С. Тургенева. 6. Название некоторых сортов яблок. 7. Порода овец. 13. Озеро в Венгрии. 14. Коренное население союзной советской республики. 15. Гидравлическая машина для перекачивания жидкостей. 16. Показ художественной самостоятельности. 17. Персонаж оперы А. С. Даргомыжского «Русалка». 20. Отряд, следующий впереди основных воинских сил. 21. Радиоактивный химический элемент. 23. Часть радиоустановки. 24. Картина М. Б. Грекова. 25. Плавающий знак на водных путях. 27. Гуцульский народный танец. 28. Стихотворение А. С. Пушкина.

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД  
НАПЕЧАТАННЫЙ  
В № 5

По горизонтали:

7. Филатова. 9. Ксилофон. 10. «Африканка». 12. Сажень. 13. Гранат. 14. «Проводы». 15. Еврипид. 19. Каталог. 22. Колли. 23. Леонкавалло. 24. Терек. 25. Громова. 30. Сентаво. 33. Рейсмус. 34. Саялка. 35. «Казак». 36. Кручинина. 38. Кретинга. 39. Андерсен.

По вертикали:

1. Дирижер. 2. Гаршнеп. 3. Мода. 4. Лири. 5. Колорит. 6. Номинал. 8. «Аврора». 9. Канада. 11. Кавардосси. 16. Велюр. 17. Идиом. 18. Диета. 19. Колас. 20. Астат. 21. «Обрыв». 26. Оляндра. 27. Оркестр. 28. Неруда. 29. «Цусима». 31. Ниагара. 32. Асафьев. 36. Конь. 37. Анды.

# Синие Шубки

СКАЗКА

Лариса ЧЕРНИКОВА,  
участница VI Всесоюзного  
совещания молодых писателей, Душанбе



Выдавали зайцам в лесу зимние шубки, обыкновенные белые заячьи шубки.

— А я не хочу такую шубку!— вдруг сказал один молодой заяц.

— А какую ты хочешь шубку?— не поняли зайцы.

— Я хочу, чтоб она была синяя! В белый горошек!

— Синяя! В белый горошек!— воскликнули пораженные зайцы и переполошились: виданное ли это дело, чтобы заяц носил шубку не белую, а синюю! Да еще в белый горошек! Что же это будет за заяц? И можно ли вообще считать такого зайца зайцем? Развернулась дискуссия.

А молодым зайчикам очень понравилась такая шубка, какую захотел заяц, и они закричали:

— И мы хотим такие шубки!

— Синие!

— В белый горошек!

— Это красиво!

— Это модно!

Тут Молодой Морозец, который со своими помощниками, Легкими Морозцами, выдавал зайцам шубки, сказал:

— Пожалуйста! Есть у меня такие шубки. Только они тоненькие—фи! А когда я уйду от вас и придет в лес Большой Мороз, что вы тогда будете делать в тонких шубках?

— Это ничего!—закричали зайчихи.

— Ничего!

— Мы не боимся Большого Мороза!

— Хотим ходить в модных шубках!

— Хотим быть элегантными!

— Перестаньте, глупые!—сказал тут один рассудительный пожилой заяц.—Вы ведете себя прямо как люди: пусть и холодно—лишь бы модно!

— Правильно!

— Хотим как люди!—опять закричали зайчихи.

— Тыфу!—плюнул с досады пожилой заяц. Он-то знал, какие бывают в лесу большие морозы: в толстой шубке и то пробирает, не то что в тоненькой.

И другие зайцы, те, что постарше, стали вразумлять молодого зайца и молодых зайчих, но пока они этим занимались, молодые зайчихи кинулись к мешку Молодого Морозца и вытащили из него шубки! Были эти шубки совсем не шерстяные, а бархатные! А по синему бархату белым шелком вышиты были маленькие горошины!

Пожилые зайчихи даже морковку грызть перестали с досады, как увидели молодых зайчих в таких шубках! А молодые зайчихи расхаживали туда-сюда и засматривались на себя в каждую застывшую лужицу: как они были нарядны, как элегантны!

Прошел месяц, приближался Новый год, а Молодой Морозец все не решался покинуть лес с зайчихами в тонких синих шубках. Но дни шли, до Нового года оставалась всего одна неделя, и понял Молодой Морозец, что пора звать Большого Мороза: какой

же это Новый год без Большого Мороза?

И вот пришел в лес Большой Мороз. Сел он с Молодым Морозцем чай пить и вдруг видит: что-то быстро скачет по снегу—синее-синее, да еще в горошину! Одно, другое, третье! Очень удивился Большой Мороз: что такое, думает, раз скачет, значит, зверь! Но сколько лет ни приходил в этот лес Большой Мороз, а синих зверей ни разу не видел.

— Посмотри, что это там, братец Морозец, скачет?—спрашивает он Молодого Морозца.—Что это за зверь в лесу? Какие-то синие, да еще в крапинку! Может, это... иностранцы?

— Нет, братец Мороз,—говорит Молодой Морозец,—это наши... зайцы.

— Зайцы?—удивился Большой Мороз.—Но почему же они синие? В крапинку! Или это новая порода?

— Нет... Видишь ли, они захотели такие шубки—тонкие, бархатные. Это модно.

— Что ты наделал, братец!—воскликнул Большой Мороз.—Они ведь околеют в твоих модных шубках!

— А может быть... не околеют?—неуверенно сказал Молодой Морозец.

— Как это «может быть»!—зашумел Большой Мороз.—Мою должность, знаешь, пока не упразднили! Что ж это за зима, скажи, пожалуйста, без Большого Мороза? Это не зима совсем, а так... зименка! А ну подавай сюда своих синих зайцев!

— Это... зайчихи...

— Тем более! Околеют, понимаешь, в своих модных шубках, а я перед историей отвечать буду: зачем заячий род уничтожил?

Собрали всех зайцев.

— А ну, зайчихи, снимайте свой маскарад!—зашумел Большой Мороз.

— Не хотим снимать! Нам нравится! Немножко холодно, зато красиво!—закричали зайчихи.

— Это пока немножко!—рассердился Большой Мороз.—Как разгуляюсь, погодите!

Но зайчихи шубок не снимали.

— А ну, зайцы!—зашумел Большой Мороз.—Снимай шубы с зайчих!

— А-а-а!

— Не снимем!

— Хотим красиво!

— Хотим модно!

Такой шум подняли зайчихи, что зайцы даже уши зажали и отступили.

— Хватит вам кричать!—махнул вдруг рукой Большой Мороз и развязал свой мешок.—Хотел в другой лес отдать, образцово-показательный, да ладно! Пусть наши носят!—И он вытряхнул свой мешок.

Из мешка посыпались заячьи шубки. Были они привычного заячьего цвета, но что это были за шубки! Пушистые и теплые, как птичий пух, нежные и мягкие, как кошачьи лапки, и блестели и переливались на солнце. И было их так много, что хватало не только молодым, но даже пожилым! И теперь все зайцы и зайчихи с нетерпением ожидали, когда же разгуляется Большой Мороз! Что это за зима без Большого Мороза!

